



Н.С. ЛЕСКОВ



Николай Семёнович Лесков

Овцебык
(Рассказы)

Содержание

Глава первая	0005
Глава вторая	0028
Глава третья	0037
Глава четвертая	0051
Глава пятая	0074
Глава шестая	0089
Глава седьмая	0094
Глава восьмая	0102
Глава девятая	0107
Глава десятая	0116
Глава одиннадцатая	0125
Глава двенадцатая	0127

Николай Лесков Овцебык

*Питается травой, а при недостатке
ее и лишаями.
Из зоологии.*

Глава первая

Когда я познакомился с Василием Петровичем, его уже звали «Овцебыком». Кличку эту ему дали потому, что его наружность необыкновенно напоминала овцебыка, которого можно видеть в иллюстрированном руководстве к зоологии Юлиана Симашки. Ему было двадцать восемь лет, а на вид казалось гораздо более. Это был не атлет, не богатырь, но человек очень сильный и здоровый, небольшого роста, коренастый и широкоплечий. Лицо у Василия Петровича было серое и круглое, но кругло было только одно лицо, а череп представлял странную уродливость. С первого взгляда он как будто напоминал несколько кафрский череп, но, всматриваясь и изучая эту голову ближе, вы не могли бы подвести ее ни под одну френологическую систему. Прическу он носил такую, как будто нарочно хотел ввести всех в заблуждение о фигуре своего «верхнего этажа». Сзади он очень коротко выстригал весь затылок, а наперед от ушей его темно-каштановые волосы шли двумя длинными и густыми косица-

ми. Василий Петрович обыкновенно крутил эти косицы, и они постоянно лежали свернутыми валиками на его висках, а на щеках загинались, напоминая собою рога того животного, в честь которого он получил свою кличку. Этим косицам Василий Петрович более всего был обязан своим сходством с овцебыком. В фигуре Василия Петровича, однако, не было ничего смешного. Человек, который встречался с ним в первый раз, видел только, что Василий Петрович, как говорится, «плохо скроен, да крепко сшит», а взглядевшись в его карие, широко расставленные глаза, нельзя было не видеть в них здорового ума, воли и решительности. Характер Василия Петровича имел много оригинального. Отличительною его чертою была евангельская беззаботливость о себе. Сын сельского дьячка, выросший в горькой нужде и вдобавок еще рано осиротевший, он никогда не заботился не только о прочном улучшении своего существования, но даже никогда, кажется, не подумал о завтрашнем дне. Ему отдавать было нечего, но он способен был снять с себя последнюю рубашку и предполагал такую же способность

в каждом из людей, с которыми сходиллся, а всех остальных обыкновенно называл кратко и ясно «свиньями». Когда у Василия Петровича не было сапогов, то есть если сапоги его, как он выражался, «совсем разевали рот», то он шел ко мне или к вам, без всякой церемонии брал ваши запасные сапоги, если они ему кое-как всходили на ногу, а свои осметки оставлял вам на память. Дома ли вы или нет, Василию Петровичу это было все равно: он располагался у вас по-домашнему, брал, что ему нужно, всегда в возможно малом количестве, и иногда при встрече говорил, что он взял у вас табаку, или чаю, или сапоги, а чаще случалось, что и ничего не говорил о таких мелочах. Новой литературы он терпеть не мог и читал только евангелие да древних классиков; о женщинах не мог слышать никакого разговора, почитал их всех поголовно *дурами* и очень серьезно жалел, что его старуха мать – женщина, а не какое-нибудь бесполое существо. Самоотвержение Василия Петровича не имело границ. Он никогда не показывал кому-нибудь из нас, что он кого-нибудь любит; но все очень хорошо знали, что нет

жертвы, которой бы Овцебык не принес для каждого из своих присных и знаемых. В готовности же его жертвовать собою за избранную идею никому и в голову не приходило сомневаться, но идею эту нелегко было отыскать под черепом нашего Овцебыка. Он не смеялся над многими теориями, в которые мы тогда жарко верили, но глубоко и искренно презирал их.

Разговоров Овцебык не любил, делал все молча, и делал именно то, чего вы в данную минуту менее всего могли от него ожидать.

Как и почему он сошелся с маленьким кружком, к которому принадлежал и я во время моего непродолжительного житья в нашем губернском городе, — я не знаю. Овцебык года за три перед моим приездом окончил курс в курской семинарии. Мать, кормившая его крохами, собираемыми ради христа, с нетерпением ждала, когда сын сделается помом и заживет на приходе с молодою женою. Но у сына и мысли не было о молодой жене. Жениться Василий Петрович не имел ни малейшего желания. Курс был окончен; мать все осведомлялась о невестах, а Василий Пет-

рович молчал и в одно прекрасное утро исчез неизвестно куда. Только через полгода при- слал он матери двадцать пять рублей и пись- мо, в котором уведомлял нищенствующую старуху, что он пришел в Казань и поступил в тамошнюю духовную академию. Как он до- шел до Казани, отломав более тысячи верст, и каким образом достал двадцать пять рублей – это осталось неизвестным. Овцебык ни слова не написал об этом матери. Но не успела ста- руха порадоваться, что ее Вася будет когда-ни- будь архиереем и она будет тогда жить у него в светлой комнатке с белой печкою и всякий день по два раза пить чай с изюмом, Вася как будто с неба упал – нежданно-негаданно сно- ва явился в Курске. Много его спрашива- ли: что такое? как? отчего он вернулся? но узнали немного. «Не поладил», – коротко от- вечал Овцебык, и больше от него ничего не могли добиться. Только одному человеку он сказал немножко более: «Не хочу я быть мо- нахом», а больше уж никто от него ничего не добился.

Человек, которому Овцебык сказал более, чем всем прочим, был Яков Челновский, доб-

рый, хороший малый, неспособный обидеть мухи и готовый на всякую службу ближнему. Челновский доводился мне родственником в каком-то далеком колене. У Челновского я и познакомился с коренастым героем моего рассказа.

Это было летом 1854 года. Мне нужно было хлопотать по процессу, производившемуся в курских присутственных местах.

В Курск я приехал в семь часов утра в мае месяце, прямо к Челновскому. Он в это время занимался приготовлением молодых людей в университет, давал уроки русского языка и истории в двух женских пансионах и жил не худо: имел порядочную квартиру в три комнаты с передней, изрядную библиотеку, мягкую мебель, несколько горшков экзотических растений и бульдога Бокса, с оскаленными зубами, весьма неприличной турнюрой и походкой, которая слегка смахивала на канкан.

Челновский чрезвычайно обрадовался моему приезду и взял с меня слово непременно остаться у него на все время моего пребывания в Курске. Сам он обыкновенно бегал целый день по урокам, а я то навещал граждан-

скую палату, то бродил без цели около Тускари или Сейма. Первую из этих рек вы совсем не встретите на многих картах России, а вторая славится особенно вкусными раками, но еще большую известность она приобрела через устроенную на ней шлюзовую систему, которая поглотила огромные капиталы, не освободив Сейма от репутации реки, «неудобной к судоходству».

Прошло недели две со дня приезда в Курск. Об Овцебыке никогда не заходило никакой речи, я и не подозревал вовсе существования такого странного зверя в пределах нашей черноземной полосы, изобилующей хлебом, нищими и ворами.

Однажды, усталый и измученный, возвратился я домой часу во втором пополудни. В передней меня встретил Бокс, стороживший наше жилище гораздо рачительнее, чем семнадцатилетний мальчик, состоявший в должности нашего камердинера. На столе в зале лежал суконный картуз, истасканный донельзя; одна грязнейшая подтяжка с надвяванным на нее ремешком, просаленный черный платок, свитый жгутом, и тоненькая па-

лочка из лесной орешины. Во второй комнате, заставленной книжными шкафами и довольно щеголеватую кабинетную мебелью, сидел на диване запыленный донельзя человек. На нем были ситцевая розовая рубашка и светло-желтые панталоны с протертыми коленями. Сапоги незнакомца были покрыты густым слоем белой шоссейной пыли, а на коленях у него лежала толстая книга, которую он читал, не нагиная головы. При входе моем в кабинет запыленная фигура бросила на меня один беглый взгляд и опять устремила глаза в книгу. В спальне все было в порядке. Полосатая холстинковая блуза Челновского, в которую он облачался тотчас по возвращении домой, висела на своем месте и свидетельствовала, что хозяина нет дома. Никак я не мог отгадать, кто этот странный гость, расположившийся так бесцеремонно. Свирепый Бокс смотрел на него как на своего человека и не ласкался только потому, что нежничанье, свойственное собакам французской породы, не в характере псов англо-саксонской собачьей расы. Прошел я опять в переднюю, имея две цели: во-первых, расспросить мальчика о

госте, а во-вторых – вызвать своим появлением на какое-нибудь слово самого гостя. Мне не удалось ни то, ни другое. Передняя по-прежнему была пуста, а гость даже не поднял на меня глаз и спокойно сидел в том же положении, в котором я его застал пять минут назад. Оставалось одно средство: непосредственно обратиться к самому гостю.

– Вы, верно, Якова Иваныча дожидаете? – спросил я, остановясь перед незнакомцем.

Гость лениво взглянул на меня, потом встал с дивана, плюнул сквозь зубы, как умеют плевать только великорусские мещане да семинаристы, и проговорил густым басом: «Нет».

– Кого же вам угодно видеть? – спросил я, удивленный странным ответом.

– Я просто так зашел, – отвечал гость, шагая по комнате и закручивая свои косицы.

– Позвольте же узнать, с кем я имею честь говорить?

При этом я назвал свою фамилию и сказал, что я родственник Якова Ивановича.

– А я так просто, – отвечал гость и опять взялся за свою книгу.

Тем разговор и покончился. Оставив всякую попытку разрешить для себя появление этой личности, я закурил папироску и лег с книгою в руках на свою постель. Когда придешь из-под солнечного припека в чистую и прохладную комнату, где нет докучных мух, а есть опрятная постель, необыкновенно легко засыпается. В этот раз я дознал это на опыте и не заметил, как книга выскользнула у меня из рук. Сквозь сладкий сон, которым спят люди, полные надежд и упований, я слышал, как Челновский читал мальчику нотацию, к которым тот давно привык и не обращал на них никакого внимания. Полное же мое пробуждение совершилось только, когда мой родственник вошел в кабинет и крикнул:

– А! Овцебык! Какими судьбами?

– Пришел, – ответил гость на оригинальное приветствие.

– Знаю, что пришел, да откуда же? где побывал?

– Отсюда не видать.

– Эко шут какой! А давно припожаловать изволил? – спросил снова своего гостя Яков Иванович, входя в спальню. – Э! да ты

спишь, – сказал он, обращаясь ко мне. – Вставай, брат, я тебе зверя покажу.

– Какого зверя? – спросил я, еще не совсем возвратясь к тому, что называют бдением, от того, что называется сном.

Челновский ничего мне не ответил, но снял сюртук и накинул свою блузу, что было делом одной минуты, вышел в кабинет и, таща оттуда за руку моего незнакомца, комически поклонился и, показывая рукою на упившегося гостя, проговорил:

– Честь имею рекомендовать – Овцебык. Питается травой, а при недостатке ее может есть лишай.

Я встал и протянул руку Овцебыку, который в продолжение всей рекомендации спокойно смотрел на густую ветку сирени, закрывавшей отворенное окно нашей спальни.

– Я вам уже рекомендовался, – сказал я Овцебыку.

– Слышал я это, – отвечал Овцебык, – а я кутейник Василий Богословский.

– Как, рекомендовался? – спросил Яков Иванович. – Разве вы уже виделись?

– Да, я застал здесь Василья... я не имею че-

сти знать, как по батюшке?

– Петров был, – отвечал Богословский.

– Это он был, а теперь зови его просто «Овцебык».

– Мне все равно, как ни зовите.

– Э, нет, брат! Ты Овцебык есть, так тебе Овцебыком и быть.

Сели за стол. Василий Петрович налил себе рюмку водки, вылил ее в рот, подержав несколько секунд за скулою, и, проглотив ее, значительным образом взглянул на стоящую перед ним тарелку супу.

– А студеню нет разве? – спросил он хозяина.

– Нет, брат, нету. Не ждали сегодня гостя дорогого, – отвечал Челновский, – и не приготовили.

– Сами могли есть.

– Мы и суп можем есть.

– Соусники! – прибавил Овцебык. – И гуся нет? – спросил он с еще большим удивлением, когда подали зразы.

– И гуся нет, – отвечал ему хозяин, улыбаясь своей ласковой улыбкой. – Завтра будет тебе и студень, и гусь, и каша с гусиным са-

ЛОМ.

– Завтра – не сегодня.

– Ну что ж делать? А ты, верно, давно не ел гуся?

Овцебык посмотрел на него пристально и с выражением какого-то удовольствия проговорил:

– А ты спроси лучше, давно ли я что-нибудь ел.

– Ну-у!

– Четвертого дня вечером калач в Севске съел.

– В Севске?

Овцебык утвердительно махнул рукой.

– А ты чего был в Севске?

– Проходом шел.

– Да где же это тебя носило?

Овцебык остановил вилку, которою таскал в рот огромные куски зраз, опять пристально посмотрел на Челновского и, не отвечая на его вопрос, сказал:

– Аль ты нынче табак нюхал?

– Как табак нюхал?

Челновский и я расхохотались странному вопросу.

– Так.

– Да говори, милый зверь!

– Что язык-то у тебя свербит нынче.

– Да как же не спросить? Ведь целый месяц пропадал.

– Пропадал? – повторил Овцебык. – Я, брат, не пропаду, а пропаду, так не задаром.

– Проповедничество нас заело! – отозвался ко мне Челновский. – «Охота смертная, а участь горькая!» На торжищах и стогнах проповедовать в наш просвещенный век не дозволяется; в попы мы не можем идти, чтобы *не прикоснуться жене, аки сосуду змеину*, а в монахи идти тоже что-то мешает. Но уж что именно такое тут мешает – про то не знаю.

– И хорошо, что не знаешь.

– Отчего же хорошо? Чем больше знать, тем лучше.

– Поди сам в монахи, так и узнаешь.

– А ты не хочешь послужить человечеству своим опытом?

– Чужой опыт, брат, – пустое дело, – сказал оригинал, встав из-за стола и обтирая себе салфеткой целое лицо, покрывшееся потом от усердствования за обедом. Положив салфет-

ку, он отправился в переднюю и достал там из своего пальто маленькую глиняную трубочку с черным обгрызанным чубучком и ситцевый кисетик; набил трубку, кисет положил в карман штанов и направился снова к передней.

– Кури здесь, – сказал ему Челновский.

– Расчихаетесь неравно. Головы заболят.

Овцебык стоял и улыбался. Я никогда не встречал человека, который бы так улыбался, как Богословский. Лицо его оставалось совершенно спокойным; ни одна черта не двигалась, и в глазах оставалось глубокое, грустное выражение, а между тем вы видели, что эти глаза смеются, и смеются самым добрым смехом, каким русский человек иногда потешается над самим собою и над своею долею.

– Новый Диоген! – сказал Челновский вслед вышедшему Овцебыку, – все людей евангельских ищет.

Мы закурили сигары и, улегшись на своих кроватях, толковали о различных человеческих странностях, приходивших нам в голову по поводу странностей Василия Петровича. Через четверть часа вошел и Василий Петро-

вич. Он поставил свою трубочку на пол у печки, сел в ногах у Челновского и, почесав правую рукою левое плечо, сказал вполголоса:

– Кондиций искал.

– Когда? – спросил его Челновский.

– Да вот теперъ.

– У кого ж ты искал?

– По дороге.

Челновский опять засмеялся; но Овцебык не обращал на это никакого внимания.

– Ну, и что ж бог дал? – спросил его Челновский.

– Нет ни шиша.

– Да шутина ты этакой! Кто же ищет кондиций по дороге?

– Я заходил в помещичьи дома, там спрашивал, – серьезно продолжал Овцебык.

– Ну и что же?

– Не берут.

– Да, разумеется, и не возьмут.

Овцебык посмотрел на Челновского своим пристальным взглядом и тем же ровным тоном спросил:

– Почему же это и не возьмут?

– Потому, что с ветру пришлого человека,

без рекомендации, не берут в дом.

– Я аттестат показывал.

– А в нем написано: «поведения довольно изрядного»?

– Ну так что ж? Я, брат, скажу тебе, что это все не оттого, а оттого что...

– Ты – Овцебык, – подсказал Челновский.

– Да, Овцебык, пожалуй.

– Что ж ты теперь думаешь делать?

– Думаю вот еще трубочку покурить, – отвечал Василий Петрович, вставая и снова принимаясь за свой чубучок.

– Да кури здесь.

– Не надо.

– Кури: ведь окно открыто.

– Не надо.

– Да что тебе, первый раз, что ли, курить у меня свой дубек?

– Им будет неприятно, – сказал Овцебык, показывая на меня.

– Пожалуйста, курите, Василий Петрович; я – человек привыкший; для меня ни один дубек ничего не значит.

– Да ведь у меня тот дубек, от которого черт улет, – отвечал Овцебык, налегая на бук-

ву у в слове дубе к, и в его добрых глазах опять мелькнула его симпатическая улыбка.

– Ну, а я не убегу.

– Значит, вы сильней черта.

– На этот случай.

– Он о силе черта имеет самое высокое мнение, – сказал Челновский.

– Одна баба, брат, только злей черта.

Василий Петрович напихал махоркою свою трубочку и, выпустив из рта тоненькую струйку едкого дыма, осадил пальцем горящий табак и сказал:

– Задачки стану переписывать.

– Какие задачки? – спросил Челновский, приставляя ладонь к своему уху.

– Задачки, задачки семинарские стану, мол, пока переписывать. Ну, тетрадки ученические, не понимаешь, что ли? – пояснил он.

– Понимаю теперь. Плохая, брат, работа.

– Все равно.

– Два целковых в месяц как раз заработаешь.

– Это мне все едино.

– Ну, а дальше что?

– Кондиции мне отыщи.

– Опять в деревню?

– В деревню лучше.

– И опять через неделю уйдешь. Ты знаешь, что он сделал прошлой весной, – сказал, обращаясь ко мне, Челновский. – Поставил я его на место, сто двадцать рублей в год платы, на всем готовом, с тем чтобы он приготовил ко второму классу гимназии одного мальчика. Справили ему все, что нужно, снарядили доброго молодца. Ну, думаю, на месте наш Овцебык! А он через месяц опять перед нами как вырос. Еще за свою науку и белье там оставил.

– Ну так что же, если нельзя было иначе, – сказал, нахмурясь, Овцебык и встал со стула.

– А спроси его, отчего нельзя? – сказал Челновский, снова обращаясь ко мне. – Оттого, что за волосенки пощипать мальчишку не позволили.

– Еще соври! – пробормотал Овцебык.

– Ну, а как же было?

– Так было, что иначе нельзя было.

Овцебык остановился передо мною и, подумав с минутку, сказал:

– Вовсе особое дело было!

– Садитесь, Василий Петрович, – сказал я, подвигаясь на кровати.

– Нет, не надо. Вовсе особое дело, – начал он снова. – Мальчишке пятнадцатый год, а между тем уж он совсем дворянин, то есть бесстыжая шельма.

– Вот у нас как! – пошутил Челновский.

– Да, – продолжал Овцебык. – Повар у них был Егор, молодой парень. Женился он, взял дьячковскую дочь из нашего духовенного нищенства. Барчонок уж всему был обучен, и давай к ней лязгаться. А бабенка молодая, не из таковских; пожаловалась мужу, а муж – барыне. Та там что-то поговорила сыну, а он опять за свое. Так в другой раз, в третий – повар опять к барыне, что жене отбою нет от барчука, – опять ничего. Взяла меня досада. «Послушайте, – говорю ему, – если вы еще раз защипнете Аленку, так я вас тресну». Покраснел от досады; разыграла благородная кровь, знаете; полетел к мамаше, а я за ним. Гляжу: она сидит в креслах, и тоже вся красная; а сын по-французски ей жалобу на меня расписывает. Как увидела меня, сейчас взяла его за руку и улыбается, черт знает чего. «Полно, го-

ворит, мой друг. Василью Петровичу, верно, что-нибудь показалось; он шутит, и ты докажешь ему, что он ошибается». А сама, вижу, косится на меня. Малец мой пошел, а она, вместо того чтобы поговорить со мною о сыне, говорит: «Какой вы рыцарь, Василий Петрович! Уж не сердечная ли у вас зазнобушка?» Ну, а я этих вещей терпеть не могу, – сказал Овцебык, энергически махнув рукою. – Не могу я этого слушать, – повторил он еще раз, возвысив голос, и снова зашагал.

– Ну, вы тут же и оставили этот дом?

– Нет, через полтора месяца.

– И жили в ладу?

– Ну, я ни с кем не говорил.

– А за столом?

– Я с конторщиком обедал.

– Как с конторщиком?

– Просто сказать, на застольной. Да это мне ничего. Меня ведь обидеть нельзя.

– Как нельзя?

– А разумеется, нельзя... ну, да что об этом толковать... Только сижу я раз после обеда под окном, Тацита читаю, а в людской, слышу, кто-то кричит. Что кричит – не разберу, а

голос Аленкин. Барчук, думаю, верно забавляется. Встал, подхожу к людской. Слышу, Аленка плачет и сквозь слезы кричит: «стыдно вам», «бога вы не боитесь» и разное такое. Смотрю, Аленка стоит на чердаке над приставной лестницей, а малец мой под лестницей, так что бабе никак нельзя сойти. Стыдно... ну, знаете, как они ходят... просто. А он еще ее поддразнивает: «лезь, говорит, а то отставлю лестницу». Зло меня такое взяло, что я вошел в сени, да и дал ему затрецину.

– Таковую, что у него из уха и из носа кровь хлынула, – засмеявшись, подсказал Челновский.

– Какая там на его долю выросла.

– Что же вам мать?

– Да я ее после не глядел. Я из людской прямо в Курск пошел.

– Сколько же это верст?

– Сто семьдесят; да хоть бы и тысяча семьсот, так это все равно.

Если бы вы видели в эту минуту Овцебыка, то не усомнились бы, что ему в самом деле *все равно*, сколько верст ни пройти и кому ни дать затрецину, если, по его соображениям,

затрецину эту дать следует.

Глава вторая

Начался знойный июнь. Василий Петрович являлся к нам аккуратно всякий день часов в двенадцать, снимал свой коленкорový галстук, подтяжки и, сказав обоим нам «здравствуйте», усаживался за своих классиков. Так проходило время до обеда; после же обеда он закуривал трубочку и, став у окна, обыкновенно спрашивал: «что ж, кондиций?» Прошел месяц с того дня, как Овцебык каждый день повторял этот вопрос Челновскому, и целый месяц всякий раз слышал один и тот же самый неутешительный ответ. Места даже и в виду не было. Василия Петровича, по видимому, это, однако, нисколько не обходило. Он кушал с прекрасным аппетитом и был постоянно в своем неизменном настроении духа. Только раз или два я видел его раздраженнее обыкновенного; но и эта раздражительность не имела никакого соотношения с положением дел Василия Петровича. Она происходила от двух совершенно сторонних обстоятельств. Раз он встретился с бабой, которая рыдала впричет, и спросил ее своим ба-

сом: «Чего, дура, ревешь?» Баба сначала испугалась, а потом рассказала, что у нее изловили сына и завтра ведут его в рекрутский прием. Василий Петрович вспомнил, что делопроизводитель в рекрутском присутствии был его товарищем по семинарии, сходил к нему рано утром и возвратился необыкновенно расстроенным. Ходатайство его оказалось несостоятельным. В другой раз партию малолетних еврейских рекрутиков перегоняли через город. В ту пору наборы были частые. Василий Петрович, закусив верхнюю губу и подперши фертюм руки, стоял под окном и внимательно смотрел на обоз провозимых рекрут. Обывательские подводки медленно тянулись; телеги, прыгая по губернской мостовой из стороны в сторону, качали головки детей, одетых в серые шинели из солдатского сукна. Большие серые шапки, надвигаясь им на глаза, придавали ужасно печальный вид красивым личикам и умным глазенкам, с тоскою и вместе с детским любопытством смотревшим на новый город и на толпы мещанских мальчишек, бежавших вприпрыжку за телегами. Сзади шли две кухарки.

– Тоже, чай, матери где-нибудь есть? – сказала, поровнявшись с нашим окном, одна рослая рябая кухарка.

– Гляди, может и есть, – отвечала другая, запустив локти под рукава и скребя ногтями свои руки.

– И ведь им небось, хоть и жиденята, а жалко их?

– Да ведь что ж, матка, делать!

– Разумеется, а только по материнству-то?

– Да, по материнству, – конечно... своя утроба... А нельзя...

– Конечно.

– Дуры! – крикнул им Василий Петрович.

Женщины остановились, взглянули на него с удивлением, обе враз оказали: «Чего, гладкий пес, лаешься», и пошли дальше.

Мне захотелось пойти посмотреть, как будут ссаживать этих несчастных детей у гарнизонной казармы.

– Пойдемте, Василий Петрович, к казармам, – позвал я Богословского.

– Зачем?

– Посмотрим, что там с ними будут делать.

Василий Петрович ничего не отвечал; но

когда я взялся за шляпу; он тоже встал и пошел вместе со мною. Гарнизонные казармы, куда привезли переходящую партию еврейских рекрутиков, были от нас довольно далеко. Когда мы подошли, телеги уже были пусты и дети стояли правильной шеренгой в два ряда. Партионный офицер с унтер-офицером делал им проверку. Вокруг шеренги толпились зрители. Около одной телеги тоже стояло несколько дам и священник с бронзовым крестом на владимирской ленте. Мы подошли к этой телеге. На ней сидел один большой мальчик лет девяти и жадно ел пирог с творогом; другой лежал, укрывшись шинелью, и не обращал ни на что внимания; по его покрасневшему лицу и по глазам, горевшим болезненным светом, можно было полагать, что у него лихорадка, а может быть тиф.

– Ты болен? – спросила одна дама мальчика, глотавшего куски непережеванного пирога.

– А?

– Болен ты?

Мальчик замотал головой.

– Ты не болен? – опять спросила дама.
Мальчик снова замотал головой.

– Он не конпран-па – не понимает, – заметил священник и сейчас же сам спросил: – Ты уж крещеный?

Ребенок задумался, как бы припоминая что-то знакомое в сделанном ему вопросе, и, опять махнув головой, сказал: «Не, не».

– Какой хорошенький! – проговорила дама, взяв ребенка за подбородок и приподняв кверху его милостивое личико с черными глазками.

– Где твоя мать? – неожиданно спросил Овцебык, дернув слегка ребенка за шинель.

Дитя вздрогнуло, взглянуло на Василия Петровича, потом на окружающих, потом на ундера и опять на Василия Петровича.

– Мать, мать где? – повторил Овцебык.

– Мама?

– Да, мама, мама?

– Мама... – ребенок махнул рукой вдаль.

– Дома?

Рекрут подумал и кивнул головою в знак согласия.

– Памятует еще, – вставил священник и

спросил: – Брудеры есть?

Дитя сделало едва заметный отрицательный знак.

– Врешь, врешь, один не берут в рекрут. Врать нихт гут, нейн, – продолжал священник, думая употреблением именительных падежей придать более понятности своему разговору.

– Я бродягес, – проговорил мальчик.

– Что-о?

– Бродягес, – яснее высказал ребенок.

– А, бродягес! Это по-русски значит – он бродяга, за бродяжество отдан! читал я этот закон о них, о еврейских младенцах, читал... Бродяжество положено искоренить. Ну, это и правильно: оседлый сиди дома, а бродяжке все равно бродить, и он примет святое крещение, и исправится, и в люди выйдет, – говорил священник; а тем временем перекличка окончилась, и ундер, взяв под уздцы лошадь, дернул телегу с больными к казарменному крыльцу, по которому длинною вереницею и поползли малолетние рекруты, тянувшие за собою сумочки и полы неуклюжих шинелей. Я стал искать глазами моего Овцебыка; но его

не было. Не было его и к ночи, и на другой, и на третий день к обеду. Послали мальчика на квартиру Василия Петровича, где он жил с семинаристами, – и там его не бывало. Маленькие семинаристки, с которыми жил Овцебык, давно привыкли не видеть Василия Петровича по целым неделям и не обращали никакого внимания на его исчезновение. Челновский тоже нимало не беспокоился.

– Придет, – говорил он, – бродит где-нибудь или спит во ржи, и ничего больше.

Нужно знать, что Василий Петрович, по собственному его выражению, очень любил «логовища», и логовищ этих у него было довольно много. Кровать с голыми досками, стоявшая на его квартире, никогда долго не покоила его тела. Только изредка, заходя домой, он улаживался на нее, делал мальчикам неожиданный экзамен с каким-нибудь курьезным вопросом в конце каждого испытания, и затем кровать эта опять стояла пустою. У нас он спал редко, и обыкновенно или на крыльце, или если с вечера заходил горячий разговор, не доконченный к ночи, то Овцебык ложился на полу между нашими кроватями.

тями, не позволяя себе подостлать ничего, кроме реденького половика. Утром рано он уходил или в поле, или на кладбище. На кладбище он бывал всякий день. Придет, бывало, уляжется на зеленой могиле, разложит перед собою книгу какого-нибудь латинского писателя и читает, а то свернет книгу, подложит ее под голову да смотрит на небо.

– Вы – жилец могил, Василий Петрович! – говорили ему знакомые Челновского барышни.

– Глупости говорите, – отвечал Василий Петрович.

– Вы – упырь, – говорил ему бледный уездный учитель, прославивший за литератора с тех пор, как в губернских ведомостях напечатали его ученую статью.

– Глупости сочиняете, – отвечал Овцебык и ему и опять отправлялся к своим покойникам.

Чудачества Василия Петровича приучили весь небольшой кружок его знакомых не удивляться ни одной его выходке, а потому никто и не удивился его быстрому и неожиданному исчезновению. Но он должен же был

возвратиться. Никто и не сомневался, что он возвратится: вопрос был только в том, куда он скрылся? где он скитается? что его так раздражало и чем он врачует себя от этих раздражений? – это были вопросы, разрешение которых представляло для моей скуки довольно большой интерес.

Глава третья

Прошло еще три дня. Погода стояла прекрасная. Могучая и щедрая природа наша жила полною своею жизнью. Было новолуние. После жаркого дня наступила светлая, роскошная ночь. В такие ночи курские жители наслаждаются своими курскими соловьями: соловьи свищут им напролет целые ночи, а они напролет целые ночи их слушают в своем большом и густом городском саду. Все, бывало, ходят тихо и молчаливо, и лишь только одни молодые учителя жарко спорят «о чувствах высокого и прекрасного» или о «дилетантизме в науке». Жарки бывали эти громкие споры. Даже в самые отдаленные куртины старого сада, бывало, доносятся возгласы: «это дилемма!», «позвольте!», «а priori рассуждать нельзя», «идите индуктивным способом» и т. п. Тогда у нас еще спорили о подобных предметах. Теперь таких споров не слышно. «Что ни время, то и птицы, что ни птицы, то и песни». Теперешнее русское среднее общество отнюдь не похоже на то, с которым я жил в Курске в эпоху моего рассказа. Попро-

сы, занимающие нас теперь, тогда еще не поднимались, и во множестве голов свободно и властно господствовал романтизм, господствовал, не предчувствуя приближения новых направлений, которые заявят свои права на русского человека и которые русский человек, известного развития, примет, как он принимает все, то есть не совсем искренно, но горячо, с аффектациею и с пересолом. Тогда еще мужчины не стыдились говорить о чувствах высокого и прекрасного, а женщины любили идеальных героев, слушали соловьев, свиставших в густых кустах цветущей сирени, и всласть заслушивались турухтанов, таскавших их под руку по темным аллеям и разрешавших с ними мудрые задачи святой любви.

Мы пробыли с Челновским в саду до двенадцати часов, много хорошего слышали и о высоком и о святой любви и с удовольствием улеглись в наши постели. Огонь у нас был уже погашен; но мы еще не спали и лежа общали друг другу свои вечерние впечатления. Ночь была во всем своем величии, и соловей под самым окном громко щелкал и заливался своею страшною песнью. Мы уже со-

бирались пожелать друг другу покойной ночи, как вдруг из-за забора, отделявшего от улицы садик, в который выходило окно нашей спальни, кто-то крикнул: «Ребята!»

– Это – Овцебык, – сказал Челновский, быстро подняв голову с подушки.

Мне показалось, что он ошибся.

– Нет, это Овцебык, – настаивал Челновский и, встав с постели, высунулся в окно. Все было тихо.

– Ребята! – опять крикнул под забором тот же самый голос.

– Овцебык! – окликнул Челновский.

– Я.

– Иди же.

– Ворота заперты.

– Постучись.

– Зачем будить. Я только хотел узнать, не спите ли?

За забором послышалось несколько тяжелых движений, и вслед за тем Василий Петрович, как куль с землею, упал в садик.

– Экой чертушко! – сказал Челновский, смеясь и смотря, как Василий Петрович поднимался с земли и пробирался к окну сквозь

густые кусты акации и сирени.

– Здравствуйте! – весело проговорил Овцебык, показавшись в окне.

Челновский отставил от окна столик с туалетными принадлежностями, и Василий Петрович перенес сначала одну из своих ног, потом сел верхом на подоконник, потом перенес другую ногу и, наконец, совсем явился в комнате.

– Ух! уморился, – проговорил он, снял свое пальто и подал нам руки.

– Сколько верст отмахал? – спросил его Челновский, ложась снова в свою постель.

– В Погодове был.

– У дворника?

– У дворника.

– Есть будешь?

– Если есть что, так буду.

– Побуди мальчика!

– Ну его, сопатого!

– Отчего?

– Пусть спит.

– Да что ты юродствуешь? – Челновский громко крикнул: – Моисей!

– Не буди, говорю тебе: пусть спит.

- Ну, а я не найду, чем тебя кормить.
- И не надо.
- Да ведь ты есть хочешь?
- Не надо, говорю; я вот что, братцы...
- Что, братец?
- Я к вам пришел проститься.

Василий Петрович сел на кровать к Челновскому и взял его дружески за колено.

- Как проститься?
- Не знаешь, как прощаются?
- Куда ж это ты собрался?
- Пойду, братцы, далеко.

Челновский встал и зажег свечу. Василий Петрович сидел, и на лице его выражалось спокойствие и даже счастье.

– Дай-ка мне на тебя посмотреть, – сказал Челновский.

- Посмотри, посмотри, – отвечал Овцебык, улыбаясь своей нескладной улыбкой.
- Что же твой дворник делает?
- Сено и овес продает.
- Потолковали с ним про неправды бессудные, про обиды безмерные?
- Потолковали.
- Что ж, это он, что ли, тебе такой поход

насоветовал?

– Нет, я сам надумал.

– В какие ж ты отправишься Палестины?

– В пермские.

– В пермские?

– Да, чего удивился?

– Что ты забыл там?

Василий Петрович встал, прошелся по комнате, закрутил свои виски и проговорил про себя: «Это уж мое дело».

– Эй, Вася, дуришь ты, – сказал Челновский.

Овцебык молчал, и мы молчали.

Это было тяжелое молчание. И я и Челновский поняли, что перед нами стоит агитатор – агитатор искренний и бесстрашный. И он понял, что его понимают, и вдруг вскрикнул:

– Что ж мне делать! Сердце мое не терпит этой цивилизации, этой нобилизации, этой стерворизации!.. – И он крепко ударил себя кулаком в грудь и тяжело опустился на кресло.

– Да что ж ты поделаешь?

– О, когда б я знал, что с этим можно сделать! О, когда б это знать!.. Я на ощупь иду.

Все замолчали.

– Можно курить? – спросил Богословский после продолжительной паузы.

– Кури, пожалуйста.

– Я здесь с вами на полу прилягу – это будет моя вечеря.

– И отлично.

– Поговорим, – представь... молчу-молчу, и вдруг мне приходит охота говорить.

– Ты чем-нибудь расстроился.

– Ребяенок мне жалко, – сказал он и сплюнул через губу.

– Каких?

– Ну, моих, кутейников.

– Чего ж тебе их жаль?

– Изгадятся они без меня.

– Ты сам их гадишь.

– Ври.

– Конечно: их учат на одно, а ты их переучиваешь на другое.

– Ну так что ж?

– Ничего и не будет.

Вышла пауза.

– А я вот что скажу тебе, – проговорил Челновский, – женился бы ты, взял бы к себе ста-

руху мать да был бы добрым попом – отличное бы дело сделал.

– Ты мне этого не говори! Не говори ты мне этого!

– Бог с тобой, – отвечал Челновский, махнув рукой.

Василий Петрович опять заходил по комнате и, остановясь перед окном, продекламировал:

*Стои один перед грозою,
Не призывай к себе жены.*

– И стихи выучил, – сказал Челновский, улыбаясь и показывая мне на Василья Петровича.

– Умные только, – отвечал тот, не отходя от окна.

– Таких умных стихов немало есть, Василий Петрович, – сказал я.

– Все – дребедень.

– А женщины – все дрянь?

– Дрянь.

– А Лидочка?

– Что же Лидочка? – спросил Василий Петрович, когда ему напомнили имя очень ми-

лой и необыкновенно несчастной девушки – единственного женского существа в городе, которое оказывало Василью Петровичу всяческое внимание.

– Вам не будет о ней скучно?

– Что это вы говорите? – спросил Овцебык, расширив свои глаза и пристально уставив их на меня.

– Так говорю. Она – хорошая девушка.

– Ну так что ж, что хорошая?

Василий Петрович помолчал, выколотил о подоконник свою трубку и задумался.

– Паршивые! – проговорил он, закуривая вторую трубку.

Челновский и я рассмеялись.

– Чего вас разбирает? – спросил Василий Петрович.

– Это дамы, что ли, у тебя паршивые?

– Дамы! Не дамы, а жидаы.

– К чему ж ты тут жидов вспомнил?

– А черт их знает, чего они помнятся: у меня мать, да и у них у каждого есть по матери, и все знают, – отозвался Василий Петрович и, задув свечку, с трубкою в зубах повалился на половой коврик.

– Это ты еще не забыл?

– Я, брат, памятлив.

Василий Петрович тяжело вздохнул.

– Подохнут, сопатые, доругой, – сказал он, помолчав.

– Пожалуй.

– И лучше.

– Экое у него и сострадание-то мудренное, – сказал Челновский.

– Нет, это у вас все мудренное. У меня, брат, все простое, мужицкое. Я ваших чох-мох не разумею. У вас все такое в голове, чтоб и овцы были целы и волки сыты, а этого нельзя. Этак не бывает.

– Как же по-твоему будет хорошо?

– А хорошо будет, как бог даст.

– Бог сам ничего в людских делах не делает.

– Понятно, что всё люди будут делать.

– Когда они станут людьми, – сказал Челновский.

– Эх вы, умники! Посмотришь на вас, будто и в самом деле вы что знаете, а ничего вы не знаете, – энергически воскликнул Василий Петрович. – Дальше своего дворянского носа

вам ничего не видеть, да и не увидать. Вы бы в моей шкуре пожили с людьми да с мое походили, так и узнали бы, что нечего нюни-то нюнить. Ишь ты, черт этакой! и у него тоже дворянские привычки, – переломил неожиданно Овцебык и встал.

– У кого это дворянские привычки?

– У собаки, у Боксы. У кого же еще?

– Какие ж это у ней дворянские привычки? – спросил Челновский.

– Дверей не затворяет.

Мы тут только заметили, что через комнату действительно тянул сквозной ветер.

Василий Петрович встал, затворил дверь из сеней и запер ее на крючок.

– Спасибо, – сказал ему Челновский, когда он возвратился и снова растянулся на коврике.

Василий Петрович ничего не отвечал, набил еще трубочку и, закурив ее, неожиданно спросил:

– Что в книжках брешут?

– В которых?

– Ну, в ваших журналах?

– О разных вещах пишут, всего не расска-

жешь.

– О прогрессе все небось?

– И о прогрессе.

– А о народе?

– И о народе.

– О, горе сим мытарям и фарисеям! – вздохнув, произнес Овцебык. – Болты болтают, а сами ничего не знают.

– Отчего ты, Василий Петрович, думаешь, что уж кроме тебя никто ничего не знает о народе? Ведь это, брат, самолюбие в тебе говорит.

– Нет, не самолюбие. А вижу я, что подло все занимаются этим делом. Все на язычничестве выезжают, а на дело – никого. Нет, ты дело делай, а не брешь. А то любовь-то за обедом разгорается. Повести пишут! рассказы! – прибавил он, помолчав, – эх, язычники! фарисеи проклятые! А сами небось не тронутся. Толкном-то боятся подавиться. Да и хорошо, что не трогаются, – прибавил он, помолчав немного.

– Отчего же это хорошо?

– Да все оттого ж, говорю, что толкном подавятся, доведется их в загорбок бить, чтобы

прокашлянули, а они заголосят: «бьют нас!» Таким разве поверят! А ты, – продолжал он, сев на своей постели, – надень эту же замашную рубашку, да чтобы она тебе бока не мусолила; ешь тюрю, да не морщися, да не ленись свинью во двор загнать: вот тогда тебе и поверят. Душу свою клади, да так, чтоб видели, какая у тебя душа, а не побрехеньками забавляй. Людие мой, людие мои! что бы я не сотворил вам?.. Людие мой, людие мои! что бы я вам не отдал? – Василий Петрович задумался, потом поднялся во весь свой рост и, протянув руки ко мне и к Челновокому, сказал: – Ребята! смутные дни настают, смутные. Часу медлить нельзя, а то придут лжепророки, и я голос их слышу проклятый и ненавистный. Во имя народа будут уловлять и губить вас. Не смущайтесь сими зовущими, и если силы воловьей в хребтах своих не чувствуете, ярма на себя не вскладывайте. Не в числе людей дело. Пятью пальцами блохи не изловишь, а одним можно. Я от вас, как и от других, большого проку не жду. Это – не ваша вина, вы жидки на густое дело. Но прошу вас, заповедь одну мою братскую соблюдайте: не брешите

вы никогда на ветер! Эй, право, вред в этом великий есть! Эй, вред! Ног не подставляйте, и будет с вас, а нам, вот таким Овцебыкам, – сказал он, ударив себя в грудь, – нам этого мало. На нас кара небесная падет, коли этим удовольствуемся. «Мы свои своим, и свои нас познают».

Долго и много говорил Василий Петрович. Он никогда так много не говорил и так ясно не высказывался. На небе уже брезжилась зорька, и в комнате заметно серело, а Василий Петрович все еще не умолк. Коренастая фигура его делала энергические движения, и сквозь прорехи старой ситцевой рубашки было заметно, как высоко поднималась его мохнатая грудь.

Мы заснули в четыре часа, а проснулись в девять. Овцебыка уже не было, и с тех пор я не видал его ровно три года. Чудак в то же утро ушел в страны, рекомендованные ему его приятелем, содержателем постоянного двора в Погодове.

Глава четвертая

В нашей губернии есть довольно много монастырей, которые поставлены в лесах и называются «пустынями». Моя бабушка была очень религиозная старушка. Женщина старого века, она питала неодолимую страсть к путешествиям по этим пустыням. Она на память знала не только историю каждого из этих уединенных монастырей, но знала все монастырские легенды, историю икон, чудотворения, какие там оказывали, знала монастырские средства, ризницу и все прочее. Это был ветхий, но живой указатель к святыням нашего края. В монастырях тоже все знали старушку и принимали ее необыкновенно радушно, несмотря на то, что она никогда не делала никаких очень ценных приношений, кроме воздухов, вышиваньем которых занималась целую осень и зиму, когда погода не позволяла ей путешествовать. В гостиницах П—ской и Л—ской пустыни к Петрову дню и успению всегда оставляли для нее две комнаты. Мели их, чистили и никому не отдавали даже под самый день праздника.

– Александра Васильевна приедет, – говорил всем отец казначей, – не могу отдать ее комнат.

И действительно, бабушка моя приезжала.

Раз как-то она совсем запоздала, а народу наехало на праздник в пустынь множество. Ночью, перед заутреней, приехал в Л—скую пустынь какой-то генерал и требовал себе лучшего номера в гостинице. Отец казначей был в затруднительном положении. Первый раз моя бабушка пропускала престольный праздник пустынного храма. «Умерла, видно, старуха», – подумал он, но, взглянув на свои луковицеобразные часы и увидав, что до заутрени еще остается два часа, он все-таки не отдал ее комнат генералу и спокойно отправился в келью читать свою «полунощницу». Прогудел три раза большой монастырский колокол; в церкви замелькала горящая свечечка, с которою служба суетился перед иконостасом, зажигая ставники. Народ, позевывая и крестя рты, толпами повалил в церковь, и моя милая старушка, в чистом дикеньком платьице и в белом как снег чепце московского фасона двенадцатого года, входила уже в северные две-

ри, набожно крестясь и шепча: «За утро услыши глас мой, царю мой и боже мой!» Когда иеродиакон возгласил свое торжественное «восстаните!», бабушка уже была в темном уголке и клала земные поклоны за души усопших. Отец казначей, подпуская богомольцев ко кресту после ранней обедни, нимало не удивился, увидев старуху, и, подав ей из-под рясы просфору, очень спокойно сказал: «Здравствуй, мать Александра!» Бабушку в пустынях только молодые послушники звали Александрой Васильевной, а старики иначе ей не говорили, как «мать Александра». Богомольная старушка наша, однако, никогда не была ханжою и не корчила из себя монахини. Несмотря на свои пятьдесят лет, она всегда была одета чисто, как колпик. Свеженькое дикое или зеленое ситцевое платье, высокий тюлевый чепчик с дикими лентами и ридикюль с вышитой собачкой – все было свежо и наивно-кокетливо у доброй старушки. Ездил она в пустыни в деревенской безрессорной кибитке на паре старых рыжих кобылок очень хорошей породы. Одну из них (мать) звали Щеголихой, а другую (дочь) – Неждан-

кою. Последняя получила свое название оттого, что явилась на свет совершенно неожиданно. Обе эти лошадки у бабушки были необыкновенно смирны, резвы и добронравны, и путешествие на них, с елейной старушкой и с ее добродушнейшим старичком кучером Ильею Васильевичем, составляло для меня во все годы моего детства наивысочайшее наслаждение.

Я был адъютантом старушки с самого раннего возраста. Еще шести лет я с ней отправился в первый раз в Л—скую пустынь на рыжих ее кобылках и с тех пор сопровождал ее каждый раз, пока меня десяти лет отвезли в губернскую гимназию. Поездка по монастырям имела для меня очень много привлекательного. Старушка умела необыкновенно опоэтизировать свои путешествия. Едем, бывало, рысцой; кругом так хорошо: воздух ароматный; галки прячутся в зеленях; люди встречаются, кланяются нам, и мы им кланяемся. По лесу, бывало, идем пешком; бабушка мне рассказывает о двенадцатом годе, о можайских дворянах, о своем побеге из Москвы, о том, как гордо подходили французы, и о

том, как потом безжалостно морозили и били французов. А тут постоянный двор, знакомые дворники, бабы с толстыми брюхами и с фартуками, подвязанными выше груди, просторные выгоны, по которым можно бегать, — все это пленяло меня и имело для меня обаятельную прелесть. Бабушка примется в горенке за свой туалет, а я отправляюсь под прохладный тенистый навес к Илье Васильевичу, ложусь возле него на вязке сена и слушаю рассказ о том, как Илья возил в Орле императора Александра Павловича; узнаю, какое это было опасное дело, как много было экипажей и каким опасностям подвергался экипаж императора, когда при съезде с горы к Орлику у хлопковского кучера лопнули вожжи, и как тут один он, Илья Васильич, своею находчивостью спас жизнь императора, собиравшегося уже выпрыгнуть из коляски. Феакийцы не слушали так Одиссея, как слушал я кучера Илью Васильевича. В самых же пустынях у меня были приятели. Меня очень любили два старичка: игумен П—ской пустыни и отец казначей Л—ской пустыни. Первый — высокий бледный старик с добрым, но строгим ли-

цом – не пользовался, однако, моею привязанностью; но зато отца казначея я любил от всего моего маленького сердца. Это было добродушнейшее создание в подлунном мире, о котором, мимоходом сказать, он ничего не ведал, и в этом-то его неведении, как мне теперь кажется, и лежала основа безграничной любви этого старика к человечеству.

Но кроме этих, так сказать, аристократических знакомств с пустыноначальниками, у меня были демократические связи с пустынными плебеями: я очень любил послушников – этот странный класс, в котором обыкновенно преобладают две страсти: лень и самолюбие, но иногда встречается запас веселой беспечности и чисто русского равнодушия к самому себе.

– Как вы почувствовали призвание поступить в монастырь? – спросишь, бывало, кого-нибудь из послушников.

– Нет, – отвечает он, – призвания не было, а я так поступил.

– А вы примете монашество?

– Беспременно.

Выйти из монастыря послушнику кажется

безусловно невозможным, хотя он и знает, что ему никто в этом препятствовать не станет. Я в детстве очень любил этот народ, веселый, шаловливый, отважный и добродушно-лицемерный. Пока послушник послушником или «слимаком», на него никто не обращает внимания, и потому никто и не знает его натуры; а с тем как послушник надевает рясу и клобук, он резко изменяет и свой характер и свои отношения к ближним. Пока же он послушник, он – существо необыкновенно общежительное. Какие гомерические кулачные бои я помню в монастырских хлебопекарнях. Какие песни удалые пелись вполголоса на стенах, когда пять или шесть рослых красивых послушников медленно прогуливались на них и зорко поглядывали за речку, за которой звонкими, взманивающими женскими голосами пелась другая песня – песня, в которой звучали крылатые зовы: «киньтесь, бросьтесь, во зелены гай бросьтесь». И я помню, как, бывало, мятутся слимаки, слушая эти песни, и, не утерпев, бросаются в зеленые гай. О! я все это очень хорошо помню. Не забыл я ни одного урока, ни в пении

кантат, сочиненных на самые оригинальные темы, ни в гимнастике, для упражнения в которой, впрочем, высокие монастырские стены были не совсем удобны, ни в умении молчать и смеяться, сохраняя на лице серьезное выражение. Более же всего я любил рыбную ловлю на монастырском озере. Мои приятели послушники тоже считали праздником поездку на это озеро. Рыбная ловля в их однообразной жизни была единственным занятием, при котором они могли хоть немножко разгуляться и попробовать крепость своих молодых мышц. И в самом деле, в этой рыбной ловле было очень много поэтического. От монастыря до озера было восемь или десять верст, которые надо было пройти пешком по очень густому чернолеску. Отправлялись на ловлю обыкновенно перед вечерней. На телеге, запряженной толстою и очень старою монастырскою лошадью, лежали невод, несколько ведер, бочка для рыбы и багры; но на телеге никто не сидел. Вожжи были взвязаны у тележной грядки, и если лошадь сбивалась с дороги, то послушник, исправлявший должность кучера, только подходил и

дергал ее за вожжу. Но, впрочем, лошадь почти никогда и не сбивалась, да и не могла сбиться, потому что от монастыря до озера по лесу была всего одна дорожка, и то такая колеистая, что коню никогда не приходило охоты вытаскивать колес из глубоких колея. С нами для надзора посылали всегда старца Игнатия, глухого и подслеповатого старичка, принимавшего когда-то в своей келье императора Александра I и вечно забывавшего, что Александр I уже не царствует. Отец Игнатий ездил на крошечной тележке и сам правил другою толстою лошадью. Я собственно всегда имел право ехать с отцом Игнатием, которому меня особо поручала моя бабушка, и отец Игнатий даже позволял мне править толстою лошадью, запряженною в короткие оглобли его тележки; но я обыкновенно предпочитал идти с послушниками. А они никогда не шли по дороге. Понемногу, понемногу заберемся, бывало, в лес, сначала запоем: «Как шел по пути молодой монах, а навстречу ему сам Иисус Христос», а там кто-нибудь заведет новую песню, и поем их одна за другою. Беззаботное, милое время! Благословенье те-

бе, благословенье и вам, дающим мне эти воспоминания. К ночи только, бывало, дойдем мы так к озеру. Тут на берегу стояла хатка, в которой жили два старичка, рясофорные послушники: отец Сергей и отец Вавила. Оба они были «некнижные», то есть грамоте не умели, и исполняли «сторожевое послушание» на монастырском озере. Отец Сергей был человек необыкновенно искусный в рукоделиях. У меня еще теперь есть прекрасная ложка и узорчатый крест его работы. Он также плел сети, кубари, лукошки, корзины и разные такие вещицы. Была у него очень искусно вырезанная из дерева статуэтка какого-то святого; но он ее показал мне всего только один раз, и то с тем, чтобы я никому не говорил. Отец Вавила, напротив, ничего не работал. Он был поэт. «Любил свободу, лень, покой». Он готов был по целым часам оставаться над озером в созерцательном положении и наблюдать, как летают дикие утки, как ходит осанистая цапля, таская по временам из воды лягушек, выпросивших ее себе в цари у Зевеса. Тотчас перед хаткою двух «некнижных» иноков начиналась широкая песчаная поло-

са, а за нею озеро. В хате было очень чисто: стояли две иконы на полочке и две тяжелые деревянные кровати, выкрашенные зеленою масляною краскою, стол, покрытый суровой шинкой, и два стула, а по сторонам обыкновенные лавки, как в крестьянской избе. В угле был маленький шкафчик с чайным прибором, а под шкафчиком на особой скамеечке стоял самовар, вычищенный, как паровик на королевской яхте. Все было очень чисто и уютно. В келье «некнижных» отцов, кроме их самих, не жил никто, кроме желто-бурого кота, прозванного «Капитаном» и замечательного только тем, что, нося мужское имя и будучи очень долгое время почитаем настоящим мужчиною, он вдруг, к величайшему скандалу, окотился и с тех пор не переставал размножать свое потомство как кошка.

Из всего нашего обоза в хатке с отцами «некнижными» укладывался спать, бывало, только один отец Игнатий. Я обыкновенно отпрашивался от этой чести и спал с послушниками на открытом воздухе у хатки. Да мы, впрочем, почти и не спали. Пока, бывало, разведем огонь, вскипятим котелок воды, засы-

пем жидкую кашу, бросив туда несколько сухих карасей, пока поедим все это из большой деревянной чашки – уж и полночь. А тут, только ляжем, сейчас заводится сказка, и непременно самая страшная или многогрешная. От сказок переходили к былям, к которым каждый рассказчик, как водится, всегда и «небылиц без счета привирал». Так и ночь зачастую проходила, прежде чем кто-нибудь собирался заснуть. Рассказы обыкновенно имели предметом странников и разбойников. Особенно много таких рассказов знал Тимофей Невструев, пожилой послушник, слышавший у нас за непобедимого силача и всегда собиравшийся на войну за освобождение христиан, с тем чтобы всех их «под себя подбить». Он исходил, кажется, всю Русь, был даже в Палестине, в Греции и высмотрел, что всех их «подбить можно». Уляжемся, бывало, на веретья, огонек еще курится, толстые лошади, привязанные у хрептуга, пофыркивают над овсом, а кто-нибудь уж и «заводит историю». Я теперь перезабыл множество этих историй и помню только одну последнюю ночь, которую я благодаря снисходительности мо-

ей бабушки спал с послушниками на берегу П—ского озера. Тимофей Невструев был не совсем в духе – в этот день он стоял посреди церкви на поклонах за то, что перелезал ночью через ограду в настоятельском саде, – и начал рассказывать Емельян Высоцкий, молодой человек лет восемнадцать. Он был родом из Курляндии, брошен ребенком в нашей губернии и сделался послушником. Мать его была комедиантка, и он о ней ничего больше не знал; а вырос он у какой-то сердобольной купчихи, пристроившей его девятилетним мальчиком в монастырь на послушание. Разговор начался с того, что кто-то из послушников, после одной рассказанной сказки, вздохнул глубоко и спросил:

– Отчего это, братцы мои, нет теперь хороших разбойников?

Никто ничего не отвечал, и меня начинал мучить этот вопрос, которого я давно никак не мог разрешить себе. Я тогда очень любил разбойников и рисовал их на своих тетрадях в плащах и с красными перьями в шляпах.

– Есть и теперь разбойники, – отозвался то-неньким голоском послушник из курляндцев.

– Ну, говори, какие есть теперь разбойники? – спросил Невструев и закрылся под самое горло своим коленкоровым халатом.

– А вот, как я жил еще у Пузанихи, – начал курляндец, – так пошли мы один раз с матерью Натальею, что из Боровска, да с Аленюю, тоже странницею из-под Чернигова, на богомолье к Николаю-угоднику амченскому.[1]

– Это какая Наталья? Белая-то, высокая? Она, что ли? – прервал Невструев.

– Она, – ответил торопливо рассказчик и продолжал далее: – А тут на дороге есть село Отрада. Двадцать пять верст от Орла. Пришли мы в это село так под вечер. Пспросились у мужиков ночевать – не пустили; ну, мы пошли на постоялый. На постоялом по грошу всего берут, да теснота была страшная! Все – трепачи. Человек, может, с сорок. Питра у них тут зашла, сквернословие такое, что уходи да и только. Утром, как возбудила меня мать Наталья, трепачей уж не было. Только трое осталось, и то увязывали свои сумочки к треплам. Увязали и мы свои сумочки, заплатили три гроша за ночлег и тоже пошли. Вышли из деревни, смотрим – и те три трепача за нами.

Ну, за нами и за нами. Ничего нам это невдомек. Только мать Наталья этак проговорила: «Что, дискать, за диво! Вчера, говорит, эти самые трепачи говорили, ужинавши, что в Орел идут, а нынче, гляди, идут за нами к Амченску». Идем дальше – трепачи за нами все издали. А тут лесок этакой на дороге вышел. Как стали мы подходить к этому лесу, трепачи нас стали догонять. Мы скорей, и они скорей. «Чего, говорят, бежите! не убежите ведь», да вдвоем хватъ мать Наталью за руки. Та как вскрикнет не своим голосом, а мы с матерью Аленой ударились бежать. Мы бежим, а они вслед нам грохочут: «держи их, держи!» И они орут, и мать Наталья кричит. «Верно ее зарезали», думаем, да сами еще пуще. Тетка Алена так и ушла из глаз, а у меня ноги подкосились. Вижу, нет уж моей моченьки, взял да и упал под куст. Что, думаю, уж определено богом, то и будет. Лежу и чуть дух перевожу. Жду, вот сейчас наскочут! ан никого нет. Только с матерью Натальей, слышно, все еще борются. Баба здоровая, не могут ее прикончить. В лесу-то тишь, все по зорьке мне слышно. Нет-нет, да и опять вскрикнет мать Ната-

лья. Ну, думаю, упокой господи ее душеньку. А сам уж не знаю, вставать мне да бежать или уж тут и ждать какого-нибудь доброго человека? Аж слышу, кто-то будто подходит. Лежу я ни жив ни мертв да смотрю из куста. Что ж, братцы мои, думаете, вижу? Подходит мать Наталья! Черный платок у нее с головы свалился; косица-то русая, здоровенная такая, вся растрепана, и сумку в руках несет, а сама так и натывается. Кликну ее, думаю себе; да и крикнул этак не во весь голос. Она остановилась и глядит на кусты, а я опять ее кликнул. «Кто это?» – говорит. Я выскочил, да к ней, а она так и ахнула. Озираюсь кругом – никого нет ни сзади, ни спереди. «Гонятся? – спрашиваю ее, – побежим скорей!» А она стоит как остолбенелая, только губы трясутся. Платье на ней, смотрю, все-то изорвано, руки исцарапаны, а аж по самые локти, и лоб тоже исцарапан словно как ногтями. «Пойдем», – говорю ей опять. «Душили тебя?» – спрашиваю. «Душили, говорит, пойдем скорей», и пошли. «Как же ты от них отбилась?» А она ничего больше не сказала до самой деревни, где мать Алену встретили.

– Ну, а тут что рассказывала? – спросил Невструев, хранивший так же, как и другие, во время всего рассказа мертвое молчание.

– Да и тут только и говорила, что гонялись все за ней, а она все молитву творила да песком им в глаза бросала.

– И ничего у нее не взяли? – спросил кто-то.

– Ничего. Башмак только с ноги да ладанку с шеи потеряла. Все они у нее денег за пазухой, сказывала, искали.

– Ну да! Это какие разбойники! им все и дело за пазухой только, – растолковал Невструев и вслед за тем начал рассказывать про лучших разбойников, которые напугали его в Обелиском уезде. – Вот это, – говорит, – были настоящие разбойники.

Становилось нестерпимо интересно, и все обратились в слух о настоящих хороших разбойниках.

Невструев начал:

– Шел, – говорит, – я из Коренной один раз. По обещанию от зуб ходил. Денег при мне было рубля с два да сумка с рубахами. Сошелся с двумя вроде... мещан на дороге. «Куда, спра-

шивают, идешь?» – «Туда-то», говорю. «И мы, говорят, туда». – «Пойдем вместе». – «Ну, пойдем». Пошли. Пришли в одну деревню; уж смеркалось. «Давайте, – говорю им, – ночевать здесь»; а они говорят: «Тут скверно; пойдем еще с версту: там двор будет важный; там, говорят, нам всякое удовольствие предоставят». – «Мне, говорю, никаких ваших удовольствий не надо». – «Пойдем, говорят, недалеко ведь!» Ну, пошел. Точно, этак верст через пяток стоит в лесу двор не маленький, славно как постоялый. В двух окнах светло виднеется. Один мещанин постучал в кольцо, собаки в сенях залаяли, а никто не отпирает. Опять постучал; слышим, кто-то вышел из избы и окликнул нас; голос, можно распознать, женский. «Кто такие будете?» спросила, а мещанин говорит: «Свои». – «Кто свои?» – «Кто, говорит, с борка, кто с сосенки». Двери отперли. В сенях темень такая, что смерть. Баба заперла за нами дверь и отворила избу. В избе мужчин никого не было, только баба та, что нам отворяла, да другая, корявая такая, сидела, волну щипала. «Ну, здорово, атаманиха!» – говорит мещанин бабе. «Здорово», – говорит ба-

ба и вдруг стала на меня смотреть. И я на нее гляжу. Здоровенная баба, годов этак тридцати будет, да белая, шельма, румяная, и глаза повелительные. «Где, говорит, вы этого молодца взяли?» Это на меня-то, значит. «Опосля, говорят, расскажем, а теперь дай спотыкаловки да едаловки, а то зубаревы девки от работы отвыкли». Поставили на стол солонины, хрену, водки бутылку и пирогов. «Ешь!» – говорят мне мещане. «Нет, говорю, я мяса не ем». – «Ну, бери пирог с творогом». Я взял. «Пей, говорят, водку». Выпил я рюмку. «Пей другую»; я выпил и другую. «Хочешь, говорят, жить с нами?» – «Как, спрашиваю, с вами?» – «А вот, как видишь: нам вдвоем несподручно, – ходи с нами и пей, ешь... только атаманшу слушай... Хочешь?» Плохо, думаю себе, дело! В недоброе я попал место. «Нет, говорю, ребята, мне с вами не жить». – «Отчего, говорят, не жить?» А сами все тянут водку и ко мне пристают: пей да пей. «Умеешь, – спрашивает один, – драться?» – «Не учился», говорю. «А не учился, так вот тебе наука!» – да с этим словом как свистнет меня по уху. Хозяйка ни слова, а баба знай волну щипет. «За что же это,

говоря, братцы?» – «А за то, говорит, не ходи по лавке, не гляди в окно», да опять с этим словом в другое ухо ляп. Ну, думаю, пропадать все равно, так уж не даром, развернулся сам да как щелкану его по затылку. Он так под стол и соскочил. Поднимается из-под стола, аж побряхтывает. Отмахнул рукой волосы да прямо за бутылку. «Хошь, говорит, тут твой и конец!» Все, вижу, молчат, и товарищ его молчит. «Нет, говорю, не хочу я конца». – «А не хочешь, так пей водку». – «И водки пить не стану». – «Пей! Игумен не увидит, на поклоны не поставит». – «Не хочу я водки». – «Ну, а не хочешь, так черт с тобой; заплати за то, что выпил, и ступай спать». – «Сколько, говорю, за водку с меня?» – «Все, что есть; у нас, брат, дорогая, прозывается „горькая русская доля“, с водой да с слезой, с перцем да с собачьим сердцем». Я было в шутку повернуть хотел, так нет; только что я достал кошелек, а мещанин цап его, да и швырнул за перегородку. «Ну, теперь, говорит, иди спать, чернец». – «Куда ж, мол, я пойду?» – «А вот тебя глухая тетеря проводит. Проведи его!» – закричал он бабе, что волну щипала. Пошел я за бабой в

сени, из сеней на двор. Ночь такая хорошая, вот как теперь, на небе стожары горят, и по лесу ветерок, как белка, бегаёт. Так мне жалко стало и жизни-то своей и монастыря тихого, а баба отворила мне подклеть: «иди, говорит, болезный», да и ушла. Словно как ей жаль меня было. Вошел я, щупаю руками-то, что-то нагромождено, а что – не разберешь никак. Нащупал столб. Думаю: все равно пропадать, и полез вверх. Добрался до матицы да к застрехе и ну решетины раздвигать. Руки все ободрал, наконец решетин пять раздвинул. Стал копать солому – звезды показались. Я еще работать; продрал дыру; выкинул в нее сперва свой мешочек, а там перекрестился, да и сам кувыркнул. И бежал я, братцы мои, так резво, как и сроду не бегал.

Все, бывало, больше в этом роде рассказывают, но эти рассказы казались тогда так интересными, что заслушаешься их и едва-едва сомкнешь глаза перед зарею. А тут отец Игнатий уж и поталкивает палочкой: «Вставайте! На озеро пора». Поднимутся, бывало, послушники, позевают, бедные: сон их клонит. Возьмут невод, разуются, снимут порты и пойдут

к лодкам. А неуклюжие, черные, как гагары, монастырские лодки всегда были привязаны к кольям саженьях в пятнадцати от берега, потому что с берега далеко шла песчаная отмель, а черные лодки сидели очень глубоко в воде и не могли приставать к берегу. Меня Невструев всю мель до лодок переносил, бывало, на руках. Помню хорошо я эти переходы, эти добрые, беззаботные лица. Будто вижу теперь, как послушники, бывало, со сна идут в холодную воду. Подпрыгивают, посмеиваются и, дрожа от холода, тащат тяжелый невод, нагинаясь к воде и освежая ею свои липнувшие от сна глаза. Помню редкий пар, поднимающийся с воды, золотистых карасей и скользких налимов; помню утомительный полдень, когда все мы как убитые падали на траву, отказываясь от янтарной ухи, приготовленной отцом Сергием «некнижным». Но еще более помню недовольное и как бы злое выражение всех лиц, когда запрягали толстых лошадей, чтоб везти в монастырь наловленных карасей и нашего командира, отца Игнатия, за которым слимаки должны шествовать в свои монастырские стены.

И в этих-то памятных мне с детства местах пришлось мне еще раз совершенно неожиданно встретиться с убежавшим из Курска Овцебыком.

Глава пятая

Много воды уплыло с того времени, к которому относятся мои воспоминания, может быть весьма мало касающиеся суровой доли Овцебыка. Я подрастал и узнавал горе жизни; бабушка скончалась; Илья Васильевич и Щеголиха с Нежданкою побывшилиеь; веселые слимаки ходили солидными иноками; меня поучили в гимназии, потом отвезли за шестьсот верст в университетский город, где я выучился петь одну латинскую песню, прочитал кое-что из Штрауса, Фейербаха, Бюхнера и Бабефа и во всеоружии моих знаний возвратился к своим ларам и пенатам. Тут-то я свел описанное мною знакомство с Василием Петровичем. Прошло еще четыре года, проведенные мною довольно печально, и я снова очутился под родными липами. Дома и в это время не произошло никаких перемен ни в нравах, ни во взглядах, ни в направлениях. Новости были только естественные: матушка постарела и пополнела, четырнадцатилетняя сестра прямо с пансионерской скамьи сошла в безвременную могилу, да вы-

росло несколько новых липок, посаженных ее детскою рукою. «Неужто же, — думал я, — ничто не переменилось в то время, когда я пережил так много: верил в бога, отвергал его и паки находил его; любил мою родину, и распинался с нею, и был с распинающими ее!» Это даже обидно показалось моему молодому самолюбию, и я решился произвести поверку — всему поверку — себе и всему, что меня окружало в те дни, когда мне были новы все впечатленья бытия. Прежде всего я хотел видеть мои любимые пустыни, и в одно свежее утро я поехал на бегунцах в П—скую пустынь, до которой от нас всего двадцать с чем-то верст. Та же дорога, те же поля, и галки так же прячутся в густых озимях, и мужики так же кланяются ниже пояса, и бабы так же ищутся, лежа перед порогом. Все по-старому. Вот и знакомые монастырские ворота — тут новый привратник, старый — уж монахом. Но отец казначей еще жив. Большой старик уже доживал девятый десяток лет. В наших монастырях есть много примеров редкого долголетия. Отец казначей, однако, уже не исправлял своей должности и жил «на покое», хотя по-

прежнему назывался не иначе, как «отцом казначеем». Когда меня ввели к нему, он лежал на постеле и, не узнав меня, засуетился и спросил келейника: «Кто это?» Я, ничего не отвечая, подошел к старику и взял его за руку. «Здравствуйте, здравствуйте! – бормотал отец казначей, – кто вы такой будете?» Я нагнулся к нему, поцеловал его в лоб и сказал свое имя. «Ах ты, дружок, дружок!.. ну что ж, ну, здравствуй! – заговорил старик, снова засуетясь на своей кровати. – Кирилл! самоварчик раздуй скорей! – сказал он келейнику. – А я, раб, уж не хожу. Вот больше года ноги все пухнут». У отца казначея была водяная, которою очень часто оканчивают монахи, проводящие жизнь в долгом церковном стоянии и в других занятиях, располагающих к этой болезни.

– Зови же Василья Петровича, – сказал казначей келейнику, когда тот поставил самовар и чашки на столик к постели. – Тут у меня один бедак живет, – добавил старик, обращаясь ко мне.

Келейник вышел, и через четверть часа по плитяному полу сеней послышались шаги и

какое-то мычание. Отворилась дверь, и моим удивленным глазам предстал Овцебык. Он был одет в короткую свитку из великорусского крестьянского сукна, пестрядинные порты и высокие юхтовые, довольно ветхие, сапоги. Только на голове у него была высокая черная шапочка, какие носят монастырские послушники. Наружность Овцебыка так мало изменилась, что, несмотря на довольно странный наряд, я узнал его с первого взгляда.

– Василий Петрович! Вы ли это? – сказал я, идя навстречу моему приятелю, и в то же время подумал: «О, кто же лучше, как ты, скажет мне, как пронеслись над здешними головами годы сурового опыта?»

Овцебык мне как будто обрадовался, а отец казначей удивлялся, видя в нас двух старых знакомых.

– Ну, вот и прекрасно, прекрасно, – лепетал он. – Наливай же, Вася, чай.

– Вы ведь знаете, что я не умею наливать чаю, – отвечал Овцебык.

– Правда, правда. Наливай ты, гостёк. Я стал наливать чашки.

– Давно вы здесь, Василий Петрович? –

спросил я, подав Овцебыку чашку.

Он откусил сахару, стрягнул кусочек и, хлебнув раза три, отвечал:

– Месяцев девять будет.

– Куда ж вы теперь?

– Покуда никуда.

– А можно узнать, откуда? – спросил я, невольно улыбаясь при воспоминании, как Овцебык отвечал на подобные вопросы.

– Можно.

– Из Перми?

– Нет.

– Откуда же?

Овцебык поставил выпитую чашку и проговорил:

– Был иже везде и нигде.

– Челновского не видали ли?

– Нет. Я там не был.

– Мать ваша жива ли?

– В богадельне померла.

– Одна?

– Да ведь с кем же умирают-то?

– Давно?

– С год, говорят.

– Погуляйте, ребятки, а я сосну до вечер-

ни, – сказал отец казначей, которому уж тяжело было всякое напряжение.

– Нет, я на озеро хочу проехать, – отвечал я.

– А! ну поезжай, поезжай с богом и Васю свези: он тебе почудит дорогой.

– Поедемте, Василий Петрович.

Овцебык почесался, взял свой колпачок и отвечал:

– Пожалуй.

Мы простились до завтра с отцом казначеем и вышли. На житном дворе мы сами запрягли мою лошадку и поехали. Василий Петрович сел ко мне задом, спина со спиной, говоря, что иначе он не может ехать, потому что ему воздуху мало за чужой головой. Дорогой он вовсе не чудил. Напротив, он был очень неразговорчив и только все меня расспрашивал: видал ли я умных людей в Петербурге? и про что они думают? или, перестав спрашивать, начинал свистать то соловьём, то иволгой.

В этом прошла вся дорога.

У давно знакомой хатки нас встретил низенький рыжий послушник, заступивший место отца Сергия, который года три как умер,

завещав свои инструменты и приготовленный материал беззаботному отцу Вавиле. Отца Вавилы не было дома: он, по обыкновению, гулял над озером и смотрел на цапель, глотающих покорных лягушек. Новый товарищ отца Вавилы, отец Прохор, обрадовался нам, точно деревенская барышня звону колокольчика. Сам он бросался отпрягать нашу лошадь, сам раздувал самовар и все уверял, что «отец Вавило вот ту минуту вернутся». Мы с Овцебыком вняли этим уверениям, уселись на завалинке лицом к озеру и оба приятно молчали. Никому не хотелось говорить.

Солнце уже совсем село за высокие деревья, окружающие густою чащею все монастырское озеро. Гладкая поверхность воды казалась почти черною. В воздухе было тихо, но душно.

– Гроза будет ночью, – сказал отец Прохор, таща на себе в сени подушку с моих беговых дрожек.

– Зачем вы беспокоитесь? – отвечал я, – может быть, еще и не будет.

Отец Прохор застенчиво улыбался и проговорил:

– Ничего-с! Какое беспокойство!

– Я и лошадку тоже заведу в сени, – начал он, выйдя снова из хатки.

– Зачем, отец Прохор?

– Гроза большая будет; испугается, оторвется еще. Нет-с, я ее лучше в сени. Ей там хорошо будет.

Отец Прохор отвязал лошадь и, войдя в сени, тянул ее за повод, приговаривая: «Иди, матушка! иди, дурашка! Чего боишься?»

– Вот так-то лучше, – оказал он, оставив лошадь в уголку сеней и насыпав ей овса в старое решето. – Чтой-то отца Вавилы долго нет, право! – проговорил он, зайдя за угол хатки. – А вот уж и замолаживает, – добавил он, показывая рукою на серовато-красное облачко.

На дворе совсем смеркалось.

– Я пойду посмотрю отца Вавилу, – сказал Овцебык и, закрутив свои косицы, зашагал в лес.

– Не ходите: вы с ним разойдетесь.

– Небось! – и с этим словом он ушел.

Отец Прохор взял охапку дров и пошел в избу. Скоро в окнах засветилось пламя, которое он развел на загнетке, и в котелке закипе-

ла вода. Ни отца Вавилы, ни Овцебыка не было. Между тем вершины деревьев в это время изредка стали поколыхиваться, хотя поверхность озера еще стояла спокойною, как застывающий свинец. Только изредка можно было заметить беленькие плески от какого-нибудь резвящегося карася, да лягушки хором тянули одну монотонно-унылую ноту. Я еще все сидел на завалинке, глядя на темное озеро и вспоминая мои в темную даль улетевшие годы. Тут тогда были эти неуклюжие лодки, к которым носил меня могучий Невструев; здесь я спал с послушниками, и все тогда было такое милое, веселое, полное, а теперь как-то все как будто и то же, да нет чего-то. Нет беззаботного детства, нет теплой животворящей веры во многое, во что так сладко и так уповательно верилось.

– Руси дух пахнет! Откуда гости дорогие? – крикнул отец Вавила, внезапно выйдя из-за угла хатки, так что я совершенно не заметил его приближения.

Я его узнал с первого раза. Он только совсем побелел, но тот же детский взгляд и то же веселое лицо.

– Издалека изволите быть? – спросил он меня.

Я назвал одну деревню верст за сорок.

Он спросил: не сыночек ли я Афанасья Павловича?

– Нет, – говорю.

– Ну, все равно: милости прошу в келью, а то дождь накрапывает.

Действительно, начал накрапывать дождик, и по озеру зарябило, хотя ветра в этой котловине никогда почти не бывало. Разгуляться ему здесь было негде. Такое уж было *место тихое*.

– Как величать позволите? – спросил отец Вавила, когда мы совсем вошли в его хатку.

Я назвал свое имя. Отец Вавила посмотрел на меня, и на его добродушно-хитрых губах показалась улыбка. Я тоже не удержался и улыбнулся. Мистификация моя не удалась: он узнал меня; мы обнялись со стариком, много раз сряду поцеловались и ни с того ни с сего оба заплакали.

– Дай-ка я посмотрю на тебя поближе, – сказал продолжавший улыбаться отец Вавила, подводя меня к очагу. – Ишь вырос!

– А вы состарились, отец Вавила.

Отец Прохор засмеялся.

– А они у нас еще все молодятся, – заговорил отец Прохор, – и даже ужась как молодятся.

– А то по-вашему, что ль! – храбрясь отвечал отец Вавила, но тут же и присел на стульце и добавил: – Нет, братик! дух бодр, а плоть уж отказывается. К отцу Сергию пора. Поясницу нынче все ломит – плох становлюсь.

– А давно умер отец Сергей?

– Третий год со Спиридона пошел.

– Хороший был старик, – оказал я, вспоминая покойника с его палочками и ножичком.

– Смотри-ка! В угол-то смотри! тут вся его мастерская и теперь стоит. Да зажги ты свечу, отец Прохор.

– А Капитан жив?

– Ах, ты кота... то бишь кошку нашу Капитана помнишь?

– Как же!

– Удушился, брат, Капитан. Под дежу его как-то занесло; дежа захлопнулась, а нас дома не было. Пришли, искали, искали – нет нашего кота. А дня через два взяли дежу, смот-

рим – он там. Теперь другой есть... гляди-ко какой: Васька! Васька! – стал звать отец Вавила.

Из-под печи вышел большой серый кот и начал тыкать головою в ноги отцу Вавиле.

– Ишь ты, бестия какая!

Отец Вавила взял кота и, положив его на колени, брюхом кверху, щекотал ему горло. Точно теньеровская картина: белый как лунь старик с серым толстым котом на коленях, другой полустарик в углу ворочается; разная утварь домашняя, и все это освещено теплым, красным светом горящего очага.

– Да зажигай свечу-то, отец Прохор! – крикнул опять отец Вавила.

– Вот сейчас. Никак не справишь.

Отец Вавила между тем оправдывал Прохора и рассказывал мне:

– Мы ведь себе свечи теперь не зажигаем. Рано ложимся.

Зажгли свечу. Хата точно в том же порядке, как была за двенадцать лет назад. Только вместо отца Сергия у печки стоит отец Прохор, а вместо бурого Капитана с отцом Вавилою забавляется серый Васька. Даже ножик и

пучок кореневатых палочек, приготовленных отцом Сергием, висит там, где их повесил покойник, готовящий их на какую-то потребу.

– Ну, вот и яйца сварились, вот и рыба готова, а Василья Петровича нет, – сказал отец Прохор.

– Какого Василья Петровича?

– Блажного, – отвечал отец Прохор.

– Неш ты с ним приехал?

– С ним, – сказал я, догадываясь, что кличка принадлежит моему Овцебыку.

– Кто ж это тебя с ним сюда справил?

– Да мы давно знакомы, – сказал я. – А вы мне скажите, за что вы его блажным-то прозвали?

– Блажной он, брат. Ух, какой блажной!

– Он – добрый человек.

– Да я не говорю, что злой, а только блажь его одолела; он теперь как нестоящий: всеми порядками недоволен.

Было уже десять часов.

– Что ж, давайте ужинать. Авось подойдет, – скомандовал, начиная умывать руки, отец Вавила. – Да, да, да: поужинаем, а потом

литийку... Хорошо? По отце Сергие-то, говорю, литийку все пропоем?

Стали ужинать, и поужинали, и «со святыми упокой» пропели отцу Сергию, а Василий Петрович все еще не возвращался.

Отец Прохор убрал со стола лишнюю посуду, а сковороду с рыбой, тарелку, соль, хлеб и пяток яиц оставил на столе, потом вышел из хаты и, возвратясь, сказал:

– Нет, не видать.

– Кого не видать? – спросил отец Вавила.

– Василья Петровича.

– Уж если б тут был, так не стоял бы за дверью. Он теперь, видно, на прогулку вздумал.

Отец Прохор и отец Вавила непременно хотели меня уложить на одной из своих постелей. Насилу я отговорился, взял себе одну из мягких ситниковых рогож работы покойного отца Сергия и улегся под окном на лавке. Отец Прохор дал мне подушку, погасил свечу, еще раз вышел и довольно долго там оставался. Очевидно, он поджидал «блажного», но не дождался и, возвратясь, сказал только:

– А гроза непременно соберется.

– Может быть, и не будет, – сказал я, желая

успокоить себя насчет исчезшего Овцебыка.

– Нет, будет: пбрило нынче крепко.

– Да уж давно пбрит.

– У меня поясницу так и ломит, – подсказал отец Вавила.

– И муха с самого утра как оглашенная в рожу лезла, – добавил отец Прохор, фундаментально повернувшись на своей массивной кровати, и все мы, кажется, в эту же самую минуту и заснули. На дворе стояла страшная темень, но дождя еще не было.

Глава шестая

— Встань! – говорил мне отец Вавила, толкая меня на постели. – Встань! нехорошо спать в такую пору. Неравен час воли божией.

Не разобрав, в чем дело, я проворно вскочил и сел на лавке. Перед образником горела тоненькая восковая свеча, и отец Прохор в одном белье стоял на коленях и молился. Страшный удар грома, с грохотом раскатившийся над озером и загудевший по лесу, объяснил причину тревоги. Муха, значит, недаром лезла в рожу отцу Прохору.

– Где Василий Петрович? – спросил я стариков.

Отец Прохор, не переставая шептать молитву, обернулся ко мне лицом и показал движением, что Овцебык еще не возвращался. Я посмотрел на мои часы: был ровно час пополуночи. Отец Вавила, также в одном белье и в коленкоровом ватном нагруднике, смотрел в окно; я тоже подошел к окну и стал смотреть. При непрерывной молнии, светло озарявшей все открывавшееся из окна про-

странство, можно было видеть, что земля довольно суха. Дождя большого, значит, не было с тех пор, как мы заснули. Но гроза была страшная. Удар следовал за ударом, один другого громче, один другого ужаснее, а молния не умолкала ни на минуту. Словно все небо разверзлось и готово было с грохотом упасть на землю огненным потоком.

– Где он может быть? – сказал я, невольно думая об Овцебыке.

– И не говори лучше, – отозвался отец Вавила, не отходя от окна.

– Не случилось ли чего с ним?

– Да случиться, кажется, чему бы! Зверья большого нет тут. Разве лихой человек – так и то не слышно было давно. Нет, так небось ходит. Ведь на него какая блажь найдет.

– А вид точно прекрасный, – продолжал старик, любуясь озером, которое молния освещала до самого противоположного берега.

В это мгновение грянул такой удар, что вся хата затряслась; отец Прохор упал на землю, а нас с отцом Вавилою так и отбросило к противоположной стене. В сенях что-то рухнуло и повалилось к двери, которою входили в хату.

– Горим! – закричал отец Вавила, первый выйдя из общего оцепененья, и бросился к двери. Дверь нельзя было отпереть.

– Пустите, – сказал я, совершенно уверенный, что мы горим, и с размаху крепко ударил плечом в дверь.

К крайнему нашему удивлению, дверь на этот раз отворилась свободно, и я, не удержавшись, вылетел за порог. В сенях было совершенно темно. Я вернулся в хату, взял от образника одну свечечку и с нею опять вышел в сени. Шум весь наделала моя лошадь. Перепуганная последним ужасным ударом грома, она дернула повод, которым была привязана к столбу, повалила пустой капустный напул, на котором стояло решето с овсом, и, кинувшись в сторону, притиснула нашу дверь своим телом. Бедное животное пряло ушми, тревожно водило кругом глазами и тряслось всеми членами. Втроем мы всё привели в порядок, насыпали новое решето овса и возвратились в хату. Прежде чем отец Прохор внес свечечку, мы с отцом Вавилою заметили в хатке слабый свет, отражавшийся через окно на стену. Посмотрели в окно, а как

раз напротив, на том берегу озера, словно колоссальная свечка, теплилась старая сухостойная сосна, давно одиноко торчавшая на голом песчаном холме.

– А-а! – протянул отец Вавила.

– Моленья зажгла, – подсказал отец Прохор.

– И как горит прелестно! – сказал опять художественный отец Вавила.

– Богом ей так назначено, – отвечал богобоязливый отец Прохор.

– Ляжемте, однако, спать, отцы: гроза утихла.

Действительно, гроза совершенно стихла, и только издали неслись далекие раскаты грома, да по небу тяжело ползла черная бесконечная туча, казавшаяся еще чернее от горящей сосны.

– Смотрите! смотрите! – неожиданно воскликнул все еще смотревший в окно отец Вавила. – Ведь это наш блажной!

– Где? – спросили в один голос я и отец Прохор и оба глянули в окно.

– Да вон, у сосны.

Действительно, шагах в десяти от горящей

сосны ясно обрисовывался силуэт, в котором можно было с первого взгляда узнать фигуру Овцебыка. Он стоял, заложа руки за спину, и, подняв голову, смотрел на горевшие сучья.

– Прокричать ему? – спросил отец Прохор.

– Не услышит, – отвечал отец Вавила. – Видите, шум какой: невозможно услышать.

– И рассердится, – добавил я, хорошо зная натуру моего приятеля.

Постояли еще у окна. Овцебык не трогался. Назвали его несколько раз «блажным» и легли на свои места. Чужачества Василья Петровича давно перестали и меня удивлять; но в этот раз мне было нестерпимо жаль моего страдающего приятеля... Стоя рыцарем печального образа перед горящею сосною, он мне казался шутком.

Глава седьмая

Когда я проснулся, было уже довольно поздно. «Некнижных» отцов не было в хатке. У стола сидел Василий Петрович. Он держал в руках большой ломоть ржаного хлеба и прихлебывал молоком прямо из стоящего перед ним кувшина. Заметив мое пробуждение, он взглянул на меня и молча продолжал свой завтрак. Я с ним не заговаривал. Так прошло минут двадцать.

– Чего растягиваться-то? – сказал, наконец, Василий Петрович, поставив выпитый им кувшин молока.

– А что ж бы нам начать делать?

– Пойдем бродить.

Василий Петрович был в самом веселом расположении духа. Я очень дорожил этим расположением и не стал его расспрашивать о ночной прогулке. Но он сам заговорил о ней, как только мы вышли из хаты.

– Ночь была грозная какая! – начал Василий Петрович. – Просто не запомню такой ночи.

– А дождя ведь не было.

– Начинал раз пять, да не разошелся. Люблю я смерть такие ночи.

– А я не люблю их.

– Отчего?

– Да что ж хорошего-то? вертит, ломит все.

– Гм! вот то-то и хорошо, что все ломит.

– Еще придавит ни зб что ни пру что.

– Эко штука!

– Вот сосну разбило.

– Славно горела.

– Мы видели.

– И я видел. Хорошо жить в лесах.

– Комаров только много.

– Эх вы, канареечный завод! Комары заедят.

– Они и медведей, Василий Петрович, донимают.

– Да, а все ж медведь из лесу не пойдет. Полюбил я эту жизнь, – продолжал Василий Петрович.

– Лесную-то?

– Да. В северных-то лесах что это за прелесть! Густо, тихо, лист аж синий – отлично!

– Да ненадолго.

– Там и зимой тоже хорошо.

- Ну, не думаю.
- Нет, хорошо.
- Что ж вам там нравилось?
- Тихость, и сила есть в той тихости.
- А каков народ?
- Что значит: каков народ?
- Как живет и чего ожидает?

Василий Петрович задумался.

- Вы ведь два года с ними прожили?
- Да, два года и еще с хвостиком.
- И узнали их?
- Да чего узнавать-то?
- Что в тамошних людях таится?
- Дурь в них таится.
- А вы же прежде так не думали?
- Не думал. Что думы-то наши стоят? Думы те со слов строились. Слышишь «раскол», «раскол», сила, протест, и все думаешь открыть в них невесть что. Все думаешь, что там слово такое, как нужно, знают и только не верят тебе, оттого и не доберешься до живца.

- Ну, а на самом деле?
- А на самом деле – буквоеды, вот что.
- Да вы с ними сошлись ли хорошо?

– Да как еще сходитьсь-то! Я ведь не с тем шел, чтобы баловаться.

– Как же вы сходились-то? Ведь это интересно. Расскажите, пожалуйста.

– Очень просто: пришел, нанялся в работники, работал как вол... Вот ляжем-ка тут над озером.

Мы легли, и Василий Петрович продолжал свой рассказ, по обыкновению, короткими отрывистыми выражениями.

– Да, я работал. Зимой я назвался переписывать книги. Уставом и полууставом писать наловчился скоро. Только все книги черт их знает какие давали. Не такие, каких я надеялся. Жизнь пошла скучная. Работа да моленное пение, и только. А больше ничего. Потом стали всё звать меня: «Иди, говорят, совсем к нам!» Я говорю: «Все одно, я и так ваш». – «Облюбуй девку и иди к кому-нибудь во двор». Знаете, как мне не по нутру! Однако, думаю, не из-за этого же бросить дело. Пошел во двор.

– Вы?

– А то кто ж?

– Вы женились?

– Взял девку, так, стало быть, женился.

Я просто остолбенел от удивления и невольно спросил:

– Ну, что ж дальше вышло?

– А дальше дрянь вышла, – сказал Овцебык, и на лице его отразились и зло и досада.

– Женою, что ли, вы несчастливы?

– Да разве жена может сделать мое счастье или несчастье? Я сам себя обманул. Я думал найти там город, а нашел лукошко.

– Раскольники не допустили вас до своих тайн?

– До чего допускать-то! – с негодованием вскрикнул Овцебык. – Только ведь за секретом все и дело. Понимаете, этого слова-то «Сезам; отворись», что в сказке говорится, его-то и нет! Я знаю все их тайны, и все они презрения единого стоят. Сойдутся, думаешь, думу великую зарешат, ан черт знает что – «благая честь да благая вера». В вере благой они останутся, а в чести благой тот, кто в чести сидит. Забобоны да буквоедство, лестовки из ремня да плеть бы ременную подлиннее. Не их ты креста, так и дела до тебя нет. А их, так нет чтоб тебе подняться дали, а в богадельню сту-

пай, коли стар или слаб, и живи при милости на кухне. А молод – в батраки иди. Хозяин будет смотреть, чтоб ты не баловался. На белом свете тюрьму увидишь. Всё еще соболезнают, индюки проклятые: «Страху мало. Страх, говорят, исчезает». А мы на них надежды, мы на них упования возверзаем!.. Байбаки дурацкие, только морочат своим секретничаньем. Василий Петрович с негодованием плюнул.

– Так, стало быть, наш здешний простой мужик лучше?

Василий Петрович задумался, потом еще плюнул и спокойным голосом отвечал:

– Не в пример лучше.

– Чем же особенно?

– Тем, что не знает, чего желает. Этот рассуждает так, рассуждает и иначе, а у того одно рассуждение. Все около своего пальца мотает. Простую вот такую-то землю возьми, либо старую плотину раскапывай. Что по ней, что ее руками насыпали! Хворост в ней есть, хворост и будет, а хворост повытаскаешь, опять одна земля, только еще дуром взбуровленная. Так вот и рассуждай, что лучше-то?

– Как же вы ушли?

– Так и ушел. Увидал, что делать нечего, и ушел.

– А жена?

– Что же вам про нее интересно?

– Как же вы ее одну там оставили?

– А куда же мне с нею деваться?

– Увести ее с собою и жить с нею.

– Очень нужно.

– Василий Петрович, ведь это жестоко! А если она вас полюбила?

– Вздор говорите! Что еще за любовь: нынче уставщик почитал – мне жена; завтра «поблагословится» – с другим в чулан спать пойдет. Да и что мне до бабы, что мне до любви! что мне до всех баб на свете!

– Но человек же она, – говорю. – Пожалеть-то ее все-таки следовало бы.

– Вот в этом смысле бабу-то пожалеть!.. Очень важное дело, с кем ей в чулан лезть. Как раз время к сему, чтоб об этом печалиться! Сезам, Сезам, кто знает, чем Сезам отпереть, – вот кто нужен! – заключил Овцебык и заколотил себя в грудь, – Мужа, дайте мужа нам, которого бы страсть не делала рабом, и его одного мы сохраним душе своей в святей-

ших недрах.

Дальнейшая беседа наша с Василием Петровичем не ладилась. Пообедав у стариков, я завез его в монастырь, простился с отцом казначеем и уехал домой.

Глава восьмая

Спустя дней десять после моей разлуки с Васильем Петровичем, я седел с матушкой и сестрою на крылечке нашего маленького домика. Смеркалось. Вся прислуга отправилась ужинать, и возле дома никого, кроме нас, не было. Везде была кругом глубочайшая вечерняя тишина, и вдруг среди этой тишины две большие дворные собаки, лежавшие у наших ног, разом вскочили, бросились к воротам и с озлоблением на кого-то напали. Я встал и пошел к воротам посмотреть на предмет их злобной атаки. У частокола, прислонясь спиною, стоял Овцебык и насилу отмахивался палкою от двух псов, напавших на него с человеческим ожесточением.

– Заели было, проклятые, – сказал он мне, когда я отогнал собак.

– Вы пешком?

– Как видите, на цуфусах.

У Василья Петровича за спиною был и мешочек, с которым он обыкновенно путешествовал.

– Пойдемте же.

- Куда?
- Ну, к нам в дом.
- Нет, я туда не пойду.
- Отчего не пойдете?
- Там какие-то барышни.
- Какие барышни! Это – мать моя и сестра.
- Все равно не пойду.
- Полноте чудить! они люди простые.
- Не пойду! – решительно сказал Овцебык.
- Куда же мне вас деть?
- Нужно куда-нибудь деть. Мне некуда деваться.

Я вспомнил о бане, которая летом была пуста и нередко служила спальнею для приезжающих гостей.

Домик у нас был маленький, «шляхетский», а не «панский».

Через двор, мимо крыльца, Василий Петрович тоже ни за что не хотел идти. Можно было пройти через сад, но я знал, что баня заперта, а ключ от нее у старой няни, которая ужинает в кухне. Оставить Василья Петровича не было никакой возможности, потому что на него снова напали бы собаки, отошедшие от нас только на несколько шагов и злобно

лаявшие. Я перегнулся через частокол, за которым стоял с Васильем Петровичем, и громко кликнул сестру. Девочка подбежала и остановилась в недоумении, увидя оригинальную фигуру Овцебыка в крестьянской свитке и послушничьем колпаке. Я послал ее за ключом к няне и, получив вождеденный ключ, повел моего нежданного гостя через сад в баню.

Всю ночь напролет мы проговорили с Васильем Петровичем. Ему нельзя было возвращаться в пустынь, откуда он пришел, ибо его оттуда выгнали за собеседования, которые он задумал вести с богомольцами. Идти в иное место у него не было никакого плана. Неудачи его не обескуражили, но разбили на время его соображения. Он много говорил о послушниках, о монастыре, о приходящих туда со всех сторон богомольцах, и все это говорил довольно последовательно. Василий Петрович, живучи в монастыре, приводил в исполнение самый оригинальный план. Мужей, которых бы страсти не делали рабами, он искал в рядах униженных и оскорбленных монастырской семьи и с ними хотел отпереть свой Сезам, действуя на массы приходящего на бо-

гомолье народа.

– Этого пути никто не видит: его никто не сторожится; им не брегут зиждущие; а тут-то и есть то, чту нужно во главу угла, – рассуждал Овцебык.

Припоминая себе хорошо знакомую монастырскую жизнь и тамошних людей из разряда униженных и оскорбленных, я готов был признать, что соображения Василья Петровича во многом не лишены основания.

Но пропагандист мой уже прогорел. Первый муж, стоявший, по его мнению, выше страстей, мой старый знакомый, послушник Невструев, в монашестве дьякон Лука, сделавшись поверенным Богословского, вздумал помочь своему унижению и оскорблению: он открыл начальству, «коего духа» Овцебык, и Овцебык был выгнан.

Теперь он был без приюта. Мне через неделю нужно было ехать в Петербург, а у Василья Петровича не было места, куда бы приклонить голову. Оставаться у моей матери ему было невозможно, да и он сам не хотел этого.

– Найдите мне опять кондицию, я обучать хочу, – говорил он.

Нужно было искать кондацию. Я взял с Овцебыка слово, что он новое место примет только для места, а не для посторонних целей, и стал искать ему приюта.

Глава девятая

В нашей губернии очень много мелкопоместных деревень. Вообще у нас, говоря языком членов С.-Петербургского политико-экономического комитета, довольно распространено хуторное хозяйство. Олнодворцы, владевшие крепостными людьми, после отобрания у них крестьян остались хуторянами, небольшие помещики промотались и крестьян попродали на свод в дальние губернии, а землю купцам или разбогатевшим олнодворцам. Около нас было пять или шесть таких хуторов, перешедших в руки лиц недворянской крови. В пяти верстах от нашего хутора был Барков-хутор: так он назывался по имени своего прежнего владельца, о котором говорили, что в Москве он жил когда-то

*Праздно, весело, богато
И от разных матерей
Прижил сорок дочерей,*

а на старости лет вступил в законный брак и продавал имение за имением. Барков-хутор, составлявший некогда отдельную дачу боль-

шого имени промотавшегося барина, принадлежал теперь Александру Ивановичу Свиридову. Александр Иванович родился в крепостном сословии, обучен грамоте и музыке. Смолоду он играл на скрипке в помещичьем оркестре, а девятнадцати лет откупился за пятьсот рублей на волю и сделался винокуром. Одаренный ясным практическим умом, Александр Иванович отлично повел свои дела. Сначала он сделал себе известность как лучший винокур в околотке; потом стал строить винокуренные заводы и водяные мельницы; собрал рублей тысячу свободных денег, съездил на год в северную Германию и возвратился оттуда таким строителем, что слава его быстро разнеслась на далекое пространство. В трех смежных губерниях знали Александра Ивановича и наперебой навязывали ему постройки. Дела он вел необыкновенно аккуратно и снисходительно смотрел на дворянские слабости своих заказчиков. Вообще он знал людей и часто смеялся в рукав над многими, но был человек недурной и даже, пожалуй, добрый. Его все любили, кроме местных немцев, над которыми он любил

подтрунивать, когда они принимались вводить культурные порядки с полудикими людьми. «Обезьяну, – говорил он, – сейчас сделает», и немец действительно, как нарочно, ошибался в расчете и делал обезьяну. Через пять лет по возвращении из Мекленбург-Шверина Александр Иванович купил у своего бывшего помещика Барков-хутор, записался в купечество нашего уездного города, выдал замуж двух сестер и женил брата. Семья была выкуплена им из крепостного звания еще до поездки за границу и вся держалась вокруг Александра Ивановича. Брат и зятья все были у него на службе и на жалованье. Обращался он с ними крутенько. Не обижал, но держал в страхе. Так он держал и приказчиков и рабочих. И не то, чтобы он любил почет, а так... Убежден он был, что «нужно, чтоб люди не баловались». Купив хутор, Александр Иванович выкупил у того же помещика горничную девушку Настасью Петровну и сочетался с ней законным браком. Жили они всегда очень согласно. Люди говорили, что у них «совет да любовь». Выйдя замуж за Александра Ивановича, Настасья Петровна, что го-

ворят, «раздобрела». Она всегда была писаная красавица, но замужем расцвела, как пышная роза. Высокая, белая, немножко полная, но стройная, румянец во всю щеку и большие ласковые голубые глаза. Хозяйка Настасья Петровна была очень хорошая. Муж, бывало, редко когда неделю просидит дома – все в разъездах по работам, а она и хозяйство по хутору ведет, и приказчиков отсчитывает, и лес или хлеб, если нужно куда на заводы, покупает. Во всем она была Александру Ивановичу правая рука, и зато все относились к ней очень серьезно и с большим уважением, а муж верил ей без меры и с нею не держался своей строгой политики. Ей у него ни в чем отказу не было. Только она ничего не требовала. Читать сама выучилась и имя свое умела подписывать. Детей у них было всего две девочки: старшей девять лет, а младшей семь. Учила их гувернантка из русских. Сама Настасья Петровна шутя называла себя «дурой безграмотной». А впрочем, она знала едва ли менее многих иных так называемых воспитанных дам. По-французски она не разуме- ла, но русские книги просто пожирала. Па-

мять у ней была страшная. Карамзинскую историю, бывало, чуть не наизусть рассказывает. А стихов на память знала без счету. Особенно она любила Лермонтова и Некрасова. Последний был особенно понятен и сочувствен ее много перестрадававшему в былое время крепостному сердцу. В разговоре у нее еще часто прорывались крестьянские выражения, особенно когда она говорила с воодушевлением, но эта народная речь даже необыкновенно шла к ней. Бывало, если она станет рассказывать этой речью что-нибудь прочитанное, так такую силу придаст своему рассказу, что после уж и читать не хочется. Очень способная была женщина. Дворянство наше часто наезжало в Барков-хутор, иногда так, чужого ужина попробовать, а больше по делам. Александру Ивановичу везде был кредит открытый, а помещикам мало верили, зная их плохую расплату. Говорили: «он аристократ – дай ему, да ори сто крат». Такова была их репутация. Понадобился хлеб – вино курить не из чего, а задатки либо промотаны, либо на уплату старых долгов пошли, – ну, и тянут к Александру Ивановичу. «Выручи! Голубчик,

такой-сякой, поручись». Тут у Настасьи Петровны ручки целуют – ласковые такие и простодушные. А она, бывало, выйдет да помирает-хохочет. «Видели, говорит, *жиристов-то!*» Настасья Петровна «жиристами» прозывала дворян с тех пор, как одна московская барыня, вернувшись в свое разоренное имение, хотела «воспитать дикий самородок» и говорила: «как же вы не понимаете, *ma belle Anastasie*, что везде есть свои жирондисты!» Впрочем, руку у Настасьи Петровны все целовали, и она к этому привыкла. Но были и такие ухорцы, что открывались ей в любви и звали ее «под сень струй». Один лейб-гусар доказывал ей даже безопасность такого поступка, если она захватит с собой юхтовый бумажник Александра Ивановича. Но

Они страдали безуспешно.

Настасья Петровна умела держать себя с этими поклонниками красоты.

К этим-то людям – к Свиридовой и к ее мужу – я и решил обратиться с просьбой о моем неуклюжем приятеле. Когда я приехал просить за него, Александра Ивановича, по обык-

новению, не было дома; я застал одну Настасью Петровну и рассказал ей, какого мне судьба послала малолетка. Через два дня я отвез к Свиридовым моего Овцебыка, а через неделю поехал к ним снова проститься.

– Что ты, брат, мне бабу тут без меня сбиваешь? – спросил меня Александр Иванович, встречая меня на крыльце.

– Чем я сбиваю Настасью Петровну? – спросил я в свою очередь, не понимая его вопроса.

– Как же, помилуй, для чего ты в филантропию ее затягиваешь? Какого ты ей тут шута на руки навязал?

– Слушайте его! – закричал из окна знакомый, немножко резкий контральт. – Отличный ваш Овцебык. Я вам за него очень благодарна.

– А взаправду, что ты за зверя такого нам завез? – спросил Александр Иванович, когда мы вошли в его чертежную.

– Овцебыка, – отвечал я, улыбаясь.

– Непонятный, брат, какой-то!

– Чем?

– Да совсем блажной какой-то!

– Это сначала.

– А может быть, под конец хуже будет?

Я рассмеялся, и Александр Иванович тоже.

– Да, парень, смех смехом, а куда его деть?

Ведь мне, право, такого приткнуть некуда.

– Пожалуйста, дай ему что-нибудь заработать.

– Да ведь не о том! Я не прочь; да куда его определить-то? Ведь ты гляди, какой он, – сказал Александр Иванович, указывая на проходившего в эту минуту по двору Василья Петровича.

Я посмотрел, как тот шагает, заложа одну руку за пазуху свиты, а другою закручивая ко-
сицу, и сам подумал: «Куда бы его в самом деле, однако, можно было определить?»

– Пусть на порубке смотрит, – посоветовала мужу хозяйка.

Александр Иванович засмеялся.

– Пусть его будет на порубке, – сказал и я.

– Эх вы, дети малые! Что он там будет делать? Там ведь непривычный человек со скуки повесится. А мой згад – дать ему сто рублей, да пусть идет куда знает и пусть делает что хочет.

– Нет, ты его не отгоняй.

– Да, этак обидеть можно! – поддержала меня Настасья Петровна.

– Ну куда ж я его дену? У меня ведь все мужики; я сам мужик; а он...

– Тоже не барин, – сказал я.

– Ни барин, ни крестьянин, да и ни на что никуда не годящийся.

– Да отдай ты его Настасье Петровне.

– Право, отдай, – вмешалась она снова.

– Бери, бери, моя матушка.

– Ну и прекрасно, – сказала Настасья Петровна. Овцебык остался на руках Настасьи Петровны.

Глава десятая

В августе месяце, живучи уже в Петербурге, я получил в почтамте страховое письмо со вложением пятидесяти рублей серебром. В письме было написано:

«Возлюбленный брате!

Я нахожусь при истреблении лесов, которые росли на всеобщую долю, а попали на свиридовскую часть. За полгода дали мне жалованья 60 рублей, хотя еще полгода и не прошло. Видно, гарнитура моя под это подговорилась, но сия их великатность пусть будет втуне: я в сем не нуждаюсь. Десять целковых себе оставил, а пятьдесят, при сем прилагаемых, тотчас, без всякого письма, отошлите крестьянской девице Глафире Анфиногеновой Мухиной в деревню Дубы, – ской губернии, – ского уезда. Да чтоб не знали, от кого. Это та, которая будто жена моя: так это ей на случай, если дитя родилось.

Тут мое житье постылое. Делать мне здесь нечего, и я одним себя утешаю, что нигде, видно, нечего делать

опричь того, что все делают: родителей поминают да свои брюхи набивают. Здесь все на Александра Свиридова молятся. Александр Иванович! – и человека больше ни для кого нет. До него все дорасти хотят, а что он такое за суть, сей муж кармана?

Да, понял ныне и я нечто, понял. Разрешил я себе „Русь, куда стремишься ты?“, и вы не бойтесь: я отсюда не пойду. Некуда идти. Везде все одно. Через Александров Ивановичей не перескочишь.

Василий Богословский».

Ольгина-Пойма.

3 августа 185... года.

В первых числах декабря я получил другое письмо. Этим письмом Свиридов извещал меня, что он выезжает на днях в Петербург с женою, и просил нанять ему удобную квартиру.

Дней через десять после этого второго письма Александр Иванович с женою сидели в премиленькой квартире против Александрийского театра, отогревались чаем и отогревали мою душу рассказами о той далекой

стороне,

Где сны златые снились мне.

– А что же вы мне не скажете, – спросил я, улучив минуту, – что делает мой Овцебык?

– Брыкается, брат, – отвечал Свиридов.

– Как брыкается?

– Чудит. К нам не ходит, пренебрегает, что ли, все с рабочими якшался, а теперь и это, должно быть, надоело: просил, чтоб его в другое место отправить.

– Что ж вы-то? – спросил я Настасью Петровну. – На вас ведь вся надежда была, что вы его приручите?

– Чего надежда? От нее-то он и бегаёт.

Я взглянул на Настасью Петровну, она на меня.

– Что будешь делать? Страшна, видно, я.

– Да как же это? Расскажите.

– Что говорить? – и говорить-то не про что – просто: пришел ко мне, да и говорит: «Отпустите меня». – «Куда?» – говорю. «Я, говорит, не знаю». – «Да чем вам худо у меня?» – «Мне, говорит, не худо, а отпустите». – «Да что же, мол, такое?» Молчит. «Обидел вас кто, что

ли?» Молчит, только косицы крутит. «Вы, говорю, Насте сказали бы, чту вам худого делают». – «Нет, вы, говорит, пошлите меня на другую работу». Жаль стало мне его совсем выправить – послал на другую порубку, в Жогово, верст за тридцать. Там он и теперь, – прибавил Александр Иванович.

– Чем же вы его так разогорчили? – спросил я Настасью Петровну.

– А уж бог его знает: я его ничем не огорчала.

– Как мать родная за ним упала, – поддержал Свиридов. – Обшила, одела, обула. Ведь знаешь, какая она сердобольная.

– Ну, и что же вышло?

– Невзлюбил меня, – смеясь, сказала Настасья Петровна.

Зажили мы знатно с Свиридовыми в Петербурге. Александр Иванович все хлопотал по делам, а мы с Настасьей Петровной все «болтались». Город ей очень понравился; но особенно она полюбила театры. Всякий вечер мы ходили в какой-нибудь театр, и никогда это ей не наскучало. Время шло быстро и приятно. От Овцебыка я в это время получил еще

одно письмо, в котором он ужасно злобно выражался об Александре Ивановиче. «Разбойники и чужеземцы, – писал он, – по мне, лучше, чем эти богатей из русских! А все за них, и черевы лопаются, как подумаешь, что это так и быть должно, что все за них будут. Вижу я нечто дивное: вижу, что он, сей Александр Иванов, мне во всем на дороге стоял, прежде чем я узнал его. Вот кто враг-то народный – сей вид сытого мужлана, мужлана, питающего от крупниц своих перекадную голь, чтобы она не сразу передохла да на него бы работала. Сей вот самый христианин нашему нраву под стать, и он всех и победит и дондеже придут отложенная ему. С моими мыслями нам вдвоем на одном свете жить не приходится. Я уступлю ему дорогу, ибо он излюбленный их. Он хоть для кого-нибудь на потребу сдастся, а мое, вижу, все ни к черту не годится. Недаром вы каким-то звериным именем называли. Никто меня не признает своим, „и я сам ни в ком своего не признал“. Затем он просил написать, жив ли я и как живет Настасья Петровна. Этим же временем из Вытегры к Александру Ивановичу зашли бондари, сопровож-

давшие вино с одного завода. Я их взял к себе в свободную кухню. Ребята все были знакомые. С ними мы как-то разговорились о том, о сем, и до Овцебыка дошло».

– Как он у вас поживает? – спрашиваю их.

– Ничего живет!

– Действует, – подсказывает другой.

– А что он работает?

– Ну, какая от него работа! Так, невесть для чего его хозяин содержит.

– В чем же он время проводит?

– Слоняется по лесу. Указано ему от хозяина вроде приказчика рубку записывать, и того не делает.

– Отчего?

– Кто его знает. Баловство от хозяина.

– А здоровый он, – продолжал другой бондарь. – Иной раз возьмет топор да как почнет садить – ух! только искоря летят.

– А то на караул ходил еще.

– На какой караул?

– Брехал народ, что беглые будто ходят, так он по целым ночам стал пропадать. Ребята подумали, что и он не заодно ли с теми беглыми, да и подкарауль его. Как он пошел, а

они втроем за ним. Видят, прямо на хутор попер. Ну, только ничего – все пустяки вышли. Сел, сказывают, под ракитой, насупротив хозяйских окон, подозвал Султанку, да так и просидел до зорьки, а зорькою поднялся и опять к своему месту. Так и в другой и в третий. Ребята и бросили за ним смотреть. Почитай до осени до самой так ходил. А после успешья тут как-то ребята стали раз спать ложиться, да и говорят ему: «Полно, Петрович, на караул-то тебе ходить! Ложись-ко с нами». Ничего не сказал, а через два дни, слышим, отпросился: в другую дачу его хозяин поставил.

– А любили его, – спрашиваю, – ваши ребята-то?

Бондарь подумал и сказал:

– Ничего будто.

– Ведь он добрый.

– Да, он худа не делал. Рассказывать, бывало, когда что зачнет про Филарета Милостивого либо про другое что, то все на доброту сворачивает и против богатства складно говорит. Ребята его много которые слушали.

– И что же: нравилось им?

– Ничего. Тоже другой раз и смешно сдела-

ет.

– А что же бывает смешно?

– А вот, например, говорит-говорит про божество, да вдруг – про господ. Возьмет горсть гороху, выберет что ни самые ядреные гороховины, да и рассажает их по свитке: «Вот это, говорит, самый нббольший – король; а это, поменьше, – его министры с князьями; а это, еще поменьше, – баре, да купцы, да попы толстопузые; а вот это, – на горсть-то показывает, – это, говорит, мы, гречкосеи». Да как этими гречкосеями-то во всех в принцев и в попов толстопузых шарахнет: все и сровняется. Куча станет. Ну, ребята, известно, смеются. Покажи, просят, опять эту комедию.

– Это он так, известно, дурашен, – подсказал другой.

Оставалось молчать.

– А из каких он будет? Не из комедиантов? – спросил второй бондарь.

– С чего это вы выдумали?

– Народ так-то баил. Миронка, что ли, сказывал.

Миронка был маленький, вертлявый мужик, давно разъезжающий с Александром

Ивановичем. Он слыл за певца, сказочника и балагура. В самом деле, он иногда выдумывал нелепые утки и мастерски распускал их между простодушным народом и наслаждался плодами своей изобретательности. Очевидно было, что Василий Петрович, сделавшись загадкою для ребят, рубивших лес, сделался и предметом толков, а Миронка воспользовался этим обстоятельством и сделал из моего героя отставного комедианта.

Глава одиннадцатая

Была масленица. Мы с Настасьей Петровной Бедва достали билет на вечерний спектакль. Давали «Эсмеральду», которую ей давно хотелось видеть. Спектакль шел очень хорошо и, по русскому театральному обычаю, окончился очень поздно. Ночь была погожая, и мы с Настасьей Петровной пошли домой пешком. Дорогою я заметил, что моя винокурша очень задумчива и часто отвечает невпопад.

– Что вас так занимает? – спросил я ее.

– А что?

– Да вы не слышите, чту я вам говорю.

Настасья Петровна засмеялась.

– А как вы думаете: о чем я задумываюсь?

– Трудно отгадать.

– Ну, а так, например?

– Об Эсмеральде.

– Да, вы почти отгадали; но не сама Эсмеральда меня занимает, а этот бедный Квазимодо.

– Вам жаль его?

– Очень. Вот настоящее несчастье: быть таким человеком, которого нельзя любить. И

жаль его, и хотел бы снять с него горе, да нельзя этого сделать. Это – ужасно! А нельзя, никак нельзя, – продолжала она в раздумье.

Усевшись за чай, в ожидании возвращения к ужину Александра Ивановича, мы очень долго толковали. Александр Иванович не приходил.

– Э! Еще слава богу, что в самом деле на свете таких людей не бывает.

– Каких? Как Квазимодо?

– Да.

– А Овцебык?

Настасья Петровна ударила ладонью по столу и сначала рассмеялась, но потом как бы застыдилась своего смеха и проговорила тихо:

– А ведь в самом деле!

Она придвинула свечку и пристально стала смотреть в огонь, прищуривая слегка свои прекрасные глаза.

Глава двенадцатая

Свиридовы пробыли в Петербурге до лета. Всё день за день откладывали за делами свой отъезд. Они уговорили меня ехать с ними вместе. Вместе мы ехали до нашего уездного города. Тут я сел на перекладную и повернул к матушке, а они уехали к себе, взяв с меня слово быть у них через неделю. Александр Иванович собирался тотчас же по приезде домой ехать в Жогово, где у него шла рубка и где резидировал теперь Овцебык, а через неделю обещал быть дома. У нас меня не ожидали и очень мне обрадовались... Я сказал, что с неделю никуда не выеду; мать вызвала моего двоюродного брата с женою, и начались разные буколические наслаждения. Так прошло дней десять, а на одиннадцатый или на двенадцатый, на самой ранней зоре, ко мне вошла несколько встревоженная моя старушка-няня.

– Что такое? – спрашиваю ее.

– От барковских, дружочек, к тебе, – говорит, – прислали.

Вошел двенадцатилетний мальчик – и, не

кланяясь, переложил раза два из руки в руку свою шляпенку, откашлялся и сказал:

– Хозяйка тебе велела, чтоб сичас к ней ехал.

– Здорова Настасья Петровна? – спрашиваю.

– Ну, а то что ей.

– А Александр Иваныч?

– Хозяина нетути дома, – отвечал мальчик, снова откашливаясь.

– Где ж хозяин?

– У Жогови... там, вишь, случай припал.

Я велел оседлать себе одну из матушкиных пристяжных лошадей и, одевшись в одну минуту, поехал шибкою рысью в Барков-хутор. Было только пять часов утра, и дома у нас все еще спали.

В домике на хуторе, когда я приехал туда, все окна, кроме комнаты детей и гувернантки, были уже отворены, и в одном окне стояла Настасья Петровна, повязанная большим голубым фуляром. Она растерянно отвечала головою на мой поклон и, пока я привязывал к коновязи лошадь, два раза махнула рукой, чтобы я шел скорее.

– Вот напасть-то! – сказала она, встречая меня на самом пороге.

– Что такое?

– Александр Иванович третьего дня вечером уехал в Турухтановку, а нынче в три часа ночи из Жогова, с порубки, вот какую записку прислал с нарочным.

Она подала мне измятое письмо, которое до того держала в своих руках.

«Настя! – писал Свиридов. – Пошли сейчас в М. на телеге парой, чтоб отдали письмо лекарю и исправнику. Чудак-то твой таки надедал нам дел. Вчера вечером говорил со мной, а нынче перед полдниками удавился. Пошли кого поумнее, чтоб купил все в порядке и чтоб гроб везли поскорее. Не то время теперь, чтобы с такими делами возиться. Пожалуй-ста, поторопись, да растолкуй, кого пошлешь: как ему надо обращаться с письмами-то. Знаешь, теперь как день дорог, а тут мертвое тело.

Твой Александр Свиридов».

Через десять минут я ехал крупной рысью к Жогову. Виляя по различным проселкам, я

очень скоро потерял настоящую дорогу и едва к сумеркам добрался до жоговского леса, где шла рубка. Лошадь я совершенно измучил и сам изнемог от продолжительной верховой езды по жару. Въехав на поляну, на которой была караульная изба, я увидел Александра Ивановича. Он стоял на крыльце в одном жилете и держал в руках счеты. Лицо у него было, по обыкновению, спокойно, но несколько серьезнее обыкновенного. Перед ним стояло человек тридцать мужиков. Они были без шапок, с заткнутыми за пояса топорами. Несколько в стороне от них стоял знакомый мне приказчик Орефьич, а еще далее – кучер Миронка.

Тут же стояла пара выпряженных коренастых лошадок Александра Ивановича.

Миронка подскочил ко мне и, взяв мою лошадь, с веселой улыбкой сказал:

– Эх, как упарили!

– Поводи, поводи хорошенько! – крикнул ему Александр Иванович, не выпуская счет из руки.

– Так тбк, ребята? – спросил он, обратясь к стоявшим перед ним крестьянам.

– Должно, так, Александра Иваныч, – отозвалось несколько голосов.

– Ну, и с богом, коли так, – отвечал он крестьянам, протянул мне руку и, долго посмотрев мне в глаза, сказал:

– Что, брат?

– Что?

– Какову штучку-то отколол?

– Повесился.

– Да; сказнил себя. Ты от кого узнал?

Я рассказал, как было.

– Умница баба, что спосылала за тобою; я, признаться, и не вздумал. Да ты еще-то что знаешь? – понизив голос, спросил Александр Иванович.

– А еще я ничего не знаю. Разве еще что есть?

– Как же! Он тут, брат, было такую гармонию изладил, что унеси ты мое горе. Поблагодарил было за хлеб за соль. Да и вам с Настасьей Петровной спасибо: одра этакое мне навязали.

– Что же такое? – говорю. – Сказывай толком!

А самому страсть как неприятно.

– Писание, братец, начал толковать на свой салтык, и, скажу тебе, уж не на честный, а на дурацкий. Про мытаря начал, да про Лазаря убогого, да вот как кому в иглу пролезть можно, а кому нельзя, и свел все на меня.

– Как же он оборотил на тебя?

– Как?.. А так, видишь ли, что я в его расчислении «купец – загребущая лапа» и гречкосеям надо меня лобанить.

Дело было понятно.

– Ну, а что же гречкосеи? – спросил я Александра Ивановича, смотревшего на меня значительным взглядом.

– Ребята, известно – ничего.

– То есть начистоту, что ли, всё вывели?

– Разумеется. Волки! – продолжал Александр Иванович с лукавой усмешкой. – Всё, будто не смысла, ему говорят: «Это, Василий Петрович, ты, должну, в правиле. Мы теперь как отца Петра увидим, тоже его об этом спрашиваем», а мне тут это все больше шутя сказывают и говорят: «Не в порядках, говорят, все он гуторит». И прямо в глаза при нем его слова повторяют.

– Ну, что ж дальше?

– Я было это хотел так и спустить, будто тоже не разумею; ну, а теперь, как такой грех случился, призывал их нарочно будто счета поверить, да стороною им загвоздку добрую закинул, что эти, мол, речи пустотные, их надо из головы выкинуть и про них крепко молчать.

– А хорошо, как они это соблюдут.

– Небось соблюдут, со мной не дурачатся.

Мы вошли в избу. На лавке у Александра Ивановича лежали пестрая казанская кошма и красная сафьяновая подушка; стол был накрыт чистой салфеткой, и на нем весело кипел самовар.

– Что это ему вздумалось? – проговорил я, усевшись к столику вместе с Свиридовым.

– Поди ж ты! С большого ума-то ведь чего не вздумаешь. Терпеть я не могу этих семинаристов.

– Третьего дня вы с ним говорили?

– Говорили. Ничего промеж нас не было неприятного. Вечером тут рабочие пришли, водкой я их потчевал, потолковал с ними, денег дал, кому вперед просили; а он тут и улизнул. Утром его не было, а перед полденками

девчонка какая-то пришла к рабочим: «Смотрите, говорит, вот тут за поляной человек какой-то удавился». Пошли ребята, а он, сердечный, уж очерствел. Должно, еще с вечера повесился.

– А больше ничего неприятного не было?

– Ничегошеньки.

– Может, ты не сказал ли ему чего?

– Еще что выдумай!

– Письма он никакого не оставил?

– Никакого.

– В бумагах ты у него не посмотрел?

– Бумаг у него, кажется, и не было.

– А все бы посмотреть, пока полиция не приехала.

– Пожалуй.

– Что у него сундучок, что ли, был? – спросил Александр Иванович у стряпки.

– У покойника-то? – сундучок.

Принесли маленький незапертый сундучок. Открыли его при приказчике и стряпке. Ничего тут не было, кроме двух перемен белья, засаленных выписок из сочинений Платона да окровавленного носового платка, завернутого в бумажку.

– Что это за платок такой? – спросил Александр Иванович.

– А это как он, покойник, руку тут при хозяйке порубил, так она ему своим платочком завязала, – отвечала стряпка. – Тот он самый и есть, – добавила баба, посмотрев на платок поближе.

– Ну, вот и все, – проговорил Александр Иванович.

– Пойдем посмотреть на него.

– Пойдем.

Пока Свиридов одевался, я внимательно рассмотрел бумажку, в которой был завернут платок. Она была совершенно чистая. Я перепустил листы Платоновой книги – нигде ни малейшей записочки; есть только очеркнутые ногтями места. Читаю очеркнутое:

«Персы и афиняне потеряли равновесие, одни слишком распространивши права монархии, другие – простирая слишком далеко любовь к свободе».

«Вола не поставляют начальником над волами, а человека. Пусть царствует гений».

«Ближайшая к природе власть есть власть сильного».

«Где бесстыдны старики, там юноши необходимо будут бесстыдны».

«Невозможно быть отлично добрым и отлично богатым. Почему? Потому что кто приобретает честными и нечестными способами, тот приобретает вдвое больше приобретающего одними честными способами, и кто не делает пожертвований добру, тот менее расходует, чем тот, кто готов на благородные жертвы».

«Бог есть мера всех вещей, и мера совершеннейшая. Чтобы уподобиться богу, надо быть умеренным во всем, даже в желаниях».

Тут есть на поле слова, слабо написанные каким-то рыжим борщом рукой Овцебыка. С трудом разбираю: *«Васька глупец! Зачем ты не поп? Зачем ты обрезал крылья у слова своего? Не в ризе учитель – народу шут, себе поношение, идея – пагубник. Я тать, и что дальше пойду, то больше сворую».*

Я закрыл Овцебыкову книгу.

Александр Иванович надел свой казакин, и мы пошли на поляну. С поляны повернули вправо и пошли глухим сосновым бором; перешли просеку, от которой начиналась рубка,

и опять вошли на другую большую поляну. Здесь стояли два большие стога прошлогоднего сена. Александр Иванович остановился посреди поляны и, вобрав в грудь воздуха, громко крикнул: «Гоп! гоп!» Ответа не было. Луна ярко освещала поляну и бросала две длинные тени от стогов.

– Гоп! гоп! – крикнул во второй раз Александр Иванович.

– Гоп-па! – отвечали справа из леса.

– Вот где! – сказал мой спутник, и мы пошли вправо. Через десять минут Александр Иванович снова крикнул, и ему тотчас отвечали, а вслед за тем мы увидели двух мужиков: старика и молодого парня. Оба они, увидя Свиридова, сняли шапки и стояли, облокотясь на свои длинные палки.

– Здорово, христиане!

– Здравствуй, Ликсандра Иваныч!

– Где покойник-то?

– Тутотка, Ликсандра Иваныч.

– Покажите: я не заприметил что-то места.

– Да вот он.

– Где?

– Да вот он!

Крестьянин усмехнулся и показал вправо.

В трех шагах от нас висел Овцебык. Он удавился тоненьким крестьянским пояском, привязав его к сучку не выше человеческого роста. Колени у него были поджаты и чуть не доставали до земли. Точно он на коленях стоял. Руки даже у него, по обыкновению, были заложены в карманы свитки. Фигура его вся была в тени, а на голову сквозь ветки падал бледный свет луны. Бедная это голова! Теперь она была уже покойна. Косицы на ней торчали так же вверх, бараньими рогами, и помутившиеся, остолбенелые глаза смотрели на луну с тем самым выражением, которое остается в глазах быка, которого несколько раз ударили обухом по лбу, а потом уже сразу проехали ножом по горлу. В них нельзя было прочесть предсмертной мысли добровольного мученика. Они не говорили и того, что говорили его платоновские цитаты и платок с красною меткою.

– Вот тебе и все: был человек, как его и не было, – сказал Свиридов.

– Ему гнить, а вам жить, батюшка Ликсандра Иваныч, – проговорил старичок заис-

кивающим сладеньким голоском.

Он тоже говорил, что ему гнить, а Александром Ивановичам жить.

Душно тут было, в этом темном лесном куточке, избранном Овцебыком для конца своих мучений. А на поляне было так светло и отрадно. Месяц купался в лазури небес, а сосны и ели дремали.

Париж. 28-го ноября 1862 года.

Примечания

1

То есть «мценскому», от г. Мценска, где есть резная икона св. Николая (*прим. Лескова*).

[^^^]